

ЧЁРНЫЙ ОГОНЬ



Денис Ган

Денис Ган

Чёрный огонь

<https://litres.ru/74345424>

Аннотация

Ей двадцать восемь. Бывшая модель, ныне тревел-блогер: просмотры падают, контракты рвутся, блог умирает. Последний шанс — билет в один конец в Буэнос-Айрес и видео, которое всё исправит. Но судьба распоряжается иначе: клуб El Fuego Negro, парень-танцор по имени Матео, в которого она влюбляется по уши, — и перестрелка, которая за одну ночь заканчивает её прежнюю жизнь.

Марина и Матео выбегают из клуба босиком, по битому стеклу, сжимая чёрный кейс, который она схватила на инстинкте. Внутри — бриллианты на двенадцать миллионов. И теперь кейс решает, кому жить, а кому умереть. Те, кто за ними охотится, не остановятся ни перед чем.

Теперь у них два пути: бежать — или перестать быть наблюдателями.

Содержание

Глава 1. Три тысячи просмотров	4
Глава 2. Тридцать один час до лета	14
Глава 3. Город-болезнь	27
Глава 4. El Fuego Negro	38
Глава 5. Ты не фальшивка	53
Глава 6. Я тут сижу, когда не могу думать	63
Глава 7. Чёрные машины	72
Глава 8. Закрытая вечеринка	82
Глава 9. Двадцать три сорок	94
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Глава 1. Три тысячи просмотров

Глава 1. Три тысячи просмотров

Красный глаз камеры моргнул — запись пошла. Марина Соколова улыбнулась в объектив так широко, будто за ним сидели не три с половиной тысячи зевак, а полный «Олимпийский». Губы разъехались в привычную дугу — рефлекс, въевшийся глубже, чем дата собственного рождения.

— Всем привет, мои хорошие! С вами Марина, и сегодня я расскажу вам про...

Она покосилась в блокнот. Строчка, нацарапанная вчера в два ночи, расплылась от чайного пятна: «ТОП-5 мест Екатеринбурга, которых нет в путеводителях». Пять мест в городе, который она знала до оскомины и ненавидела с той же привычной, тупой злостью, с какой ненавидят старую квартиру, где сломана ручка на двери в ванную, а менять её всё некогда.

— ...про секретные места нашего любимого Екб! — закончила она с энтузиазмом ведущей, которую только что не уволили. — Поехали!

Щелчок пальцами. Монтаж. Склейка. Улыбка. Всё как всегда, всё как надо.

Двадцать минут спустя она сидела на кухонном полу в растянутой футболке с надписью «I'm not lazy, I'm on energy

saving mode» и ела холодные пельмени прямо из кастрюли. Тарелки давно лежали в коробке, коробка — под матрасом, матрас — единственный предмет мебели, который она не успела продать. Ноутбук на табуретке мучительно рендерил видео: полоска загрузки ползла медленно, с издёвкой, будто знала, что Марине некуда торопиться.

Квартира опустела. Диван ушёл на Авито за четыре тысячи, кофемашина — за две, даже фикус, который она три года назад тащила из Москвы в поезде, потому что «он живой, я не могу его выбросить», продала бабушке с первого этажа за восемьсот рублей.

— Деточка, а почему так дёшево? — спросила бабушка.

— Потому что мне надо уехать, — ответила Марина.

Бабушка кивнула — так, будто это объясняло всё. Может, и объясняло.

В холодильнике остались пельмени, половина бутылки «Апероля» и банка оливок с истекшим сроком годности. Сейчас был февраль, оливки держались стойко, и Марина их за это молчаливо уважала. Всё остальное имущество умещалось на матрасе, в ноутбуке, камере и двух чемоданах. Жизнь, которую можно было вывезти за один заход.

Рендеринг наконец дополз до ста процентов. Экспорт завершён.

Она загрузила видео на YouTube с кликбейтным названием и обложкой, где сама же тыкала пальцем в камеру с притворно открытым ртом. Кликбейт — вещь, которую она

ненавидела и обожала одновременно. Без него не кликали. Без открытого рта и пальца в камеру ты никто — просто де-вушка, которая ходит по городу и бормочет. А с ними — контент, продукт, товар. Товар, который никто не покупает.

Дальше началось ожидание. Марина знала правило: первые два часа решают всё. Алгоритм — это бог без милосердия, и он уже выносит приговор: жить видео или умереть. Надо отвечать на комментарии, постить в Telegram, Instagram и этот проклятый Threads, который никто не читает, но «надо для охвата». Она знала это лучше, чем таблицу умножения, лучше, чем собственное имя и дату рождения.

И всё равно сидела на полу, жевала пельмени и смотрела, как счётчик ползёт: двенадцать, сорок семь, сто три... Через час было восемьсот девяносто один, через два — две тысячи сорок, а к утру — три тысячи двести семнадцать.

Три тысячи двести семнадцать просмотров за видео, на которое она угробила четыре дня. Четыре дня съёмок в минус двадцать три, когда пальцы немели так, что она нажимала кнопку записи носом. Четыре ночи монтажа до трёх, когда глаза слипались и она путала дорожки. Четыре дня она улыбалась в камеру на ветру и убеждала себя: «Это последнее. Это сработает. Это вернёт всё».

Не вернуло.

Год назад такое видео собирало восемьдесят, девяносто тысяч. Однажды даже сто двадцать — когда она случайно попала в рекомендации с роликом «Как я чуть не замёрзла

на съёмках в -35». Тогда подписчики писали: «Марина, ты огонь!», «Лучший тревел-блогер России!», «Когда книга?!». Когда книга... Ха! Как будто у неё есть время на книгу. Как будто ей есть что сказать. Как будто кто-то хочет читать про девушку, которая ходит по городам и говорит «ребята, вы только посмотрите».

Марина закрыла ноутбук. Пельмени кончились. В кастрюле осталось мутное месиво из теста и фарша — примерно то же самое она чувствовала сейчас внутри.

Телефон пиликнул — пришёл Email от «ГлобалКосметикс». Она прочитала дважды, потом третий раз, медленно, будто слова могли измениться, будто «расторжение» могло превратиться в «продление». Не превратилось.

«...в связи с невыполнением KPI по охвату аудитории (менее 50 000 уникальных просмотров за отчётный период) уведомляем Вас о досрочном расторжении договора №ГК-2025/114 от 12.03.2025...»

Последний контракт, на который она рассчитывала ещё три месяца. Сорок тысяч в месяц — аренда, еда, иллюзия, что она ещё барахтается, что у неё ещё есть время.

Не будет.

Марина отложила телефон, посмотрела в потолок. Пятно от протечки, которое она обещала закрасить ещё в ноябре, напоминало Африку — или Южную Америку, смотря как наклонить голову. Она наклонила. Южная Америка.

— Ну и ладно, — сказала она в пустоту. — Ну и пошло

оно всё.

Потолок промолчал. Он вообще был неразговорчивый, в отличие от Марины, которая в последние месяцы разговаривала в основном с потолком, холодильником и фикусом. Фикус, правда, уже не слушал — он ушёл к бабушке.

Она встала, прошлась по квартире. Тридцать два квадрата, когда-то «уютное гнёздышко для молодой девушки-блогера», теперь — просто коробка с матрасом.

У стены, среди следов от снятых полок и выцветших прямоугольников, осталась карта мира. Огромная, на всю стену, с кнопками-флажками — подарок мамы на двадцатипятилетие.

— Чтобы ты знала, что мир большой, а ты — нет, — сказала тогда мама и засмеялась. Мама всегда шутила так, что непонятно — смеяться или плакать.

Марина подошла, провела пальцем по России. Екатеринбург — маленькая точка за Уральским хребтом. Она ткнула в неё ногтем: пылинка, город, в котором она родилась, выросла, сломала колено, стала моделью, перестала быть моделью, стала блогером и почти перестала быть блогером. Вся жизнь — в одной точке.

Потом палец поехал дальше — влево, в Европу. Париж, Рим, Барселона. Города, где она снимала, улыбалась на фоне Эйфелевой башни и думала: «Ещё чуть-чуть, ещё один контракт — и я выйду на уровень». Не вышла. Уровень оказался выше, или она сама оказалась ниже.

Палец пересёк Атлантику, синее пятно, и остановился сам собой — или нет, она не знала. Просто ткнулся в точку на карте, как будто у него было своё мнение. Буэнос-Айрес.

Марина моргнула, посмотрела на свои пальцы — как будто они принадлежали кому-то другому. Тому, у кого есть план, деньги и диван. Тому, кто не ест пельмени с пола.

— Буэнос-Айрес, — повторила она вслух. Слово было тёплым, как мальбек, как танго, как что-то, что она видела в чужих блогах и откладывала на потом. Когда будут деньги и время. Когда будет смысл.

А сейчас был смысл? Сидеть в тридцати двух метрах, жевать пельмени и смотреть, как три тысячи человек из ста восьмидесяти соизволили нажать на её видео? Ждать контракта, который не придёт? Или ждать, пока три тысячи превратятся в две, в тысячу, в триста, в ноль?

Марина взяла телефон, открыла Aviasales и вбила маршрут: Екатеринбург — Буэнос-Айрес. Один взрослый, туда. Обратно она не ставила — не потому что была смелой, просто не знала, когда вернётся, да и вернётся ли. Пересадка в Стамбуле, тридцать один час в пути, восемьдесят семь тысяч четыреста рублей. На карте — девяносто три. После оплаты на карте останется пять тысяч шестьсот и билет в один конец, на другой конец планеты, в город, где она не знает ни одного человека, не говорит на языке, не имеет работы, контракта, плана. Только камера и четыре тысячи долларов наличкой.

Марина смотрела на экран, палец завис над кнопкой

«Оплатить».

Ты сумасшедшая, — сказал внутренний голос. Мамин. Всегда мамин. Ты безработная, без аудитории, без дивана. У тебя матрас и банка оливок с просрочкой. Ты летишь в Аргентину снимать для кого? Для трёх тысяч зрителей из жалости? Для ботов с казино?

Да, — ответила она. Для трёх тысяч. Для трёхсот. Для трёх. Для себя. Хоть раз — без «ребята, вы только посмотрите», без открытого рта и пальца в камеру. Хоть раз — что-то настоящее.

И нажала «Оплатить».

Экран мигнул, пошла обработка. Сердце стучало так, что она слышала его в ушах — как будто прыгала с парашютом без страховки, а не покупала билет. Оплата прошла, электронный билет упал в почту.

Марина выдохнула, села на пол — прямо на холодный линолеум, в футболке с энергосберегающим режимом, босиком. Пальцы ног замёрзли, но ей было всё равно. И она засмеялась — не радостно, не истерично, а просто, как человек, который прыгнул с обрыва и пока не знает, летит или падает. Но ветер в лицо — настоящий. Впервые за два года.

Она позвонила маме в полночь, по екатеринбургскому. Та не спала — смотрела турецкий сериал, как каждый вечер. Мама смотрела их, как другие пьют валерьянку — методично, каждый день, по две серии.

— Мам, я уезжаю.

— Куда это ты едешь?

— В Аргентину.

Пауза. Мама жевала яблоко — хрустела в трубку, как белка.

— Надолго?

— Не знаю.

— А деньги у тебя есть?

— Есть. Немного, хватит на первое время.

— А работа?

— Мам. У меня нет работы. Нет контрактов. Нет дивана. Есть камера и билет.

Пауза. Хруст яблока. Долгий, будто мама обдумывала — или просто дожёвывала, с ней никогда не поймёшь.

— Ну лети, — сказала она наконец. — Только шапку возьми. Там, говорят, тоже зима бывает.

— Мам, там сейчас лето.

— Ну, значит, панамку.

Марина засмеялась — настоящим смехом, вторым за вечер. Первый был на полу, босиком, с билетом в руке. Этот — тёплый, мамин.

— Я тебя люблю, мам.

— Я тебя тоже. И шапку не забудь...

В три часа ночи Марина сидела перед ноутбуком и писала — не сценарий для блога, не пост в Telegram, а просто в

заметки. Как письмо той себе, которая проснётся утром и, может быть, передумает. Писала, чтобы не передумала.

«Марина. Тебе двадцать восемь. Ты не модель, не блогер-миллионник, не успешная. Ты не та девочка с обложки, которой хотела быть в шестнадцать. У тебя шрам на колене, три тысячи просмотров и матрас на полу.

И ты летишь в Буэнос-Айрес.

Зачем? Не знаю. Может, чтобы снять что-то настоящее. Может, чтобы понять, что я ещё живая. Может, потому что если останусь здесь ещё на месяц — превращусь в пятно на потолке. В Африку или в Южную Америку — хрен разберёшь.

Я не знаю, что будет, не знаю, на что буду жить, не знаю, вернусь ли. Но знаю одно: хочу танцевать танго. Хоть раз, в настоящем месте, с настоящими людьми. Не для камеры, не для охватов — для себя.

Буэнос-Айрес. Я еду.

P.S. Шапку не беру. Беру панамку. Маме привет.»

Она захлопнула ноутбук, подошла к окну. За стеклом — Екатеринбург, февраль, минус двадцать. Снег падал крупными хлопьями, как в дешёвом новогоднем фильме. Фонари на Малышева горели жёлтым, где-то далеко гудел трамвай. Город спал и не знал, что Марина Соколова, девушка с матрасом на полу, через девять дней сядет в самолёт и улетит на другой конец земли. Городу было всё равно — как и всегда.

А Марине, впервые за долгое время, нет.

Она прижалась лбом к холодному стеклу, закрыла глаза и прошептала: «Буэнос-Айрес». Слово было как глоток воздуха после долгого падения. «Я еду».

На стене, в темноте, карта мира молчала. Кнопка-флажок в Буэнос-Айресе поблёскивала в свете уличного фонаря. Маленькая точка на другом конце планеты — точка, в которой всё и начнётся.

Глава 2. Тридцать один час до лета

Глава 2. Тридцать один час до лета

В самолёте воняло разогретым пластиком и чужим парфюмом — какой-то идиот вылил на себя полфлакона перед посадкой, и теперь весь ряд тридцать четыре дышал этим сладким ядом. Марина прижалась лбом к иллюминатору. Холодное стекло обжигало кожу, как ледяной компресс.

Место 34А досталось ей за тысячу двести рублей доплаты — цена за иллюзию, что ты летишь не в жестяной трубе, а куда-то с видом. Сосед, мужик лет пятидесяти, снял ботинки ещё до взлёта и теперь шуршал бумажной газетой. Шелест был сухим, настойчивым, как крылья таракана. В двадцать пятом году. Бумага... Как в поезде «Екатеринбург — Адлер», тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года выпуска.

Город уползал вниз. Серая снежная крошка, жёлтые фонарные пятна — всё мельчало, превращалось в игрушечный макет, потом в карту, потом в молоко облаков. Белое, плотное, бесконечное. Как потолок в её квартире, только наоборот, и дышать им можно.

Тридцать один час. Пересадка в Стамбуле. Тридцать один час до Буэнос-Айреса. До лета. До точки, где всё или взорвётся, или заглохнет навсегда. Как старая бомба с часовым механизмом — тикает, а ты не знаешь, какой провод пере-

резать.

Она открыла ноутбук. Пустой документ. Написала: «10 мест в Аргентине, которые ВЗОРВУТ ваш Instagram». Посмотрела на слово «взорвут». Оно засмеялось над ней. Удалила. «Буэнос-Айрес: гид для тех, кто устал от всего». Устала? Она была не уставшей — выпотрошенной. Как та кастрюля с пельменным месивом. Удалила. «Я лечу в Аргентину, потому что моя жизнь — это пельмени на полу в пустой квартире. Подписывайтесь». Хмыкнула, закрыла крышку.

Рано. Сначала долететь. Сначала понять, зачем вообще туда летишь.

Стамбул. Шесть часов пересадки в терминале размером с небольшой город. Марина бродила по зеркальным коридорам — ноги гудели, веки налились свинцом. Кофе за четыре доллара оказался просто горячей водой с привкусом. Помоги. Она выпила его до дна — принцип не позволял вылить четыре доллара. Жадность перебивала вкус. Да и пить хотелось...

Она сидела у гейта, прислонившись спиной к холодной стене, и разглядывала людей. Вот семья с тремя детьми — мама на грани нервного срыва сжимала пачку влажных салфеток, папа в наушниках делал вид, что его нет. Вон пара стариков держалась за руки так, будто если разжать — один из них мгновенно упадёт. Бизнесмен в помятом костюме спал с открытым ртом, галстук сполз набок, и он вдруг стал похож на ребёнка, уснувшего в автобусе после школы.

Марина достала телефон. Instagram. Сто сорок три тысячи подписчиков. Последний пост — фото заснеженного Екатеринбурга, подпись: «Зима — это когда мёрзнешь, но делаешь вид, что эстетика». Тысяча двести лайков. Сорок три комментария, половина — боты. «Привет, красавица, заходи на сайт...» Спасибо, ребята. Очень поддерживаете.

Она закрыла приложение, как захлопывают дверь перед носом назойливого продавца.

Зачем? — вопрос врезался в голову, как заноза. Зачем я лечу на другой конец земли без контракта, без плана, с четырьмя тысячами долларов и камерой? Снимать что? Для кого? Для трёх тысяч зрителей из жалости? Для ботов с казино?

Ответа не было. Она и не думала, что прямо сейчас на неё снизойдёт прозрение. Не снизошло. Только голос из громкоговорителя: посадка на рейс, выход сорок семь.

Марина встала. Ноги затекли, колени хрустнули, как старое дерево. Сумка тянула плечо вниз. А впереди — ещё целых восемнадцать часов полёта.

Просто лети, — мысленно сказала она себе. Думать будешь потом. Там что будет — то и будет.

Второй перелёт. Восемнадцать часов растеклись, как кисель, — медленно и нудно. Как сон, из которого не вырваться, потому что будильник молчит, а ты не знаешь: тебе хочется спать или просто не хочется просыпаться.

Она смотрела фильм — про агента, который спасает мир и целует девушку на фоне взрыва. Взрыв был красивый, багрово-оранжевый, как закат. Единственный момент, который запомнился в этой картине. Агент — не красивый. Марина выключила фильм через двадцать минут.

Еда: курица или паста. Выбрала курицу — резиновую, безвкусную, как подошва. Паста у соседа выглядела хуже — водянистая каша. Маленькое утешение, что у тебя всё не так плохо.

Сон — три часа в позе застывшей креветки. Шея затекла до онемения, она не могла повернуть голову. Проснулась от того, что стюардесса трясла за плечо:

— Курица или паста?

— Я уже ела курицу.

— Это завтрак.

— Тогда пасту.

Паста была холодной, солёной и притворялась едой так же плохо, как Марина притворялась популярным блогером.

Ещё фильм — французский, с субтитрами. Уснула на двадцатой минуте, проснулась на сороковой — и ничего не поняла. Не расстроилась. Не о чем там было расстраиваться.

А потом раздался голос пилота — спокойный, как диктор прогноза погоды:

— Дамы и господа, начинаем снижение к международному аэропорту Эсейса. Пристегните ремни.

Марина прилипла к иллюминатору.

Внизу было что-то зелёное. Плоское, бескрайнее, залитое ярким солнцем. Пампа — как скатерть, накрытая для великана. И вдалеке — город. Серо-бежевый, расплзающийся во все стороны, с зелёными пятнами парков и серебряным блеском реки. Как пятно на потолке, только живое, огромное, настоящее.

Это был Буэнос-Айрес.

Сердце сделало кульбит — не ёкнуло, не забилося, а просто сдвинулось. Как будто всю жизнь лежало не в той стороне грудной клетки, а теперь встало куда следует.

Привет, — подумала Марина. Я не знаю, зачем я здесь. Но я здесь.

Жара ударила её в лицо, как удар током — тёплый и липкий. После екатеринбургского февраля — словно прыжок в другую вселенную.

Марина вышла из терминала в аргентинское лето, и воздух зашёл в лёгкие горячим сиропом. Тридцать шесть градусов. Влажность такая, будто кто-то выжал на неё тёплый компресс и забыл снять. Воздух был густым, живым, пах выхлопами, цветами и ещё чем-то незнакомым — тем, чего нет в Екатеринбурге.

— Мать божья, — выдохнула она и почувствовала, как пот мгновенно проступает сквозь футболку. Спина, подмышки, живот — всё мокрое за три секунды, будто она не вышла из самолёта, а нырнула в горячую ванну.

Аэропорт Эсейса гудел, как гигантский улей. Не организованный европейский хаос, где всё по расписанию и «извините, вы не в той очереди». Настоящий, живой, латиноамериканский — люди кричали, таксисты размахивали табличками, кто-то обнимался взахлёб, кто-то ругался с такой страстью, будто от этого зависела жизнь. Женщина в цветастом платье тащила три чемодана и козу. Настоящую. Коза жевала чей-то шарф и выглядела совершенно довольной — как будто так и надо.

Марина стояла посреди этого водоворота с двумя чемоданами, рюкзаком и камерой на шее, чувствуя себя героиней фильма без субтитров. Вокруг говорили по-испански — быстро, громко, с жестами, как будто каждый разговор был маленьким спектаклем.

Она знала испанский. Но живая аргентинская речь с её диалектами и акцентами — услышав её, она поняла: знать испанский — это ещё не всё. Звуки и слова влетели в мозг и перемешались там в полный хаос.

Гениально, — усмехнулась она. Просто гениально...

Таксист нашёл её сам. Маленький, круглый человечек, лет шестидесяти, с усами, которые шевелились, словно живые. Рубашка с коротким рукавом расстёгнута на пуговицу больше необходимого. На зеркале заднего вида болталась фигурка Девы Марии и футбольный брелок «Бока Хуниорс». В машине стоял острый запах ёлочного освежителя и бутерброда

с колбасой — смесь, от которой слегка тошнило.

— Такси, такси! Куда едем, королева?

— Сан-Тельмо, — сказала Марина. — Хостел «Эль Виахеро», улица Дефенса.

— Сан-Тельмо! Хорошо, хорошо! — Он оббежал машину и закинул чемоданы в багажник с таким энтузиазмом, будто каждый чемодан был первым в его жизни. — Откуда ты? Русская?

— Да. Русская.

— Русская! — Он произнёс это с интонацией человека, который слышал «с Марса». — Моя бабушка была русская! Ну, из Одессы. Но это же одно и то же, правда?

Марина не знала, одно и то же или нет, но кивнула. Спорить с аргентинским таксистом в шесть утра после тридцати одного часа в пути она была не готова.

Он завёл мотор — старый «Пежо» чихнул, дёрнулся, как больная лошадь, и влился в поток. «Влился» — мягко сказано. Он врезался в него, как нож в масло, сигналив всем подряд: каждой машине, каждому пешеходу, каждому голубю.

— Первый раз в Буэнос-Айресе? — спросил он, не глядя на дорогу.

— Первый.

— А! — Он ударил по рулю так, что брелок подпрыгнул. — Тогда я скажу тебе одну вещь. Буэнос-Айрес — это не город. Это болезнь. Заболеешь — не вылечишься. Понимаешь?

— Не совсем.

— Поймёшь через неделю. Или через месяц. Или через год. Но поймёшь!

Он говорил без пауз, как радио, у которого сломали кнопку «выкл». Про танго, про мясо, про Марадону и Месси — «Марадона лучше, но Месси тоже ничего, но Марадона лучше». Про инфляцию — «как моя бывшая жена, забирает всё и уходит». Про президента — имени не назвал, но обозначил жестом, не оставляющим сомнений. Про рынок в Сан-Тельмо по воскресеньям — «надо идти рано, а то толпа и одни туристы с селфи-палками, как ты». Про эмпанады — «в „Ла Американа“, а не в туристических местах, там тесто как подошва».

Марина смотрела в окно. Буэнос-Айрес проплывал мимо: широкие проспекты, деревья с фиолетовыми цветами — хаккаранды, вспомнила она из чужого блога. Старые здания с облупившейся краской и коваными балконами. Граффити — везде, на стенах, на дверях, на мусорных баках. Люди за столиками на тротуарах пили кофе, курили, спорили. Жили громко, нагло, у всех на виду. Не прятались.

Это было не похоже ни на что. Не Европа, не Азия, не Россия. Хаос, крик, мясо и вино, выросшие из земли сами собой.

— Приехали, королева.

Машина остановилась у старого дома с деревянной дверью и вывеской: «El Viajero, хостел и бар». Буква «V» устало

отвалилась и теперь висела на одном гвозде, покачиваясь на ветру, словно маятник часов.

— Сколько?

— Три тысячи песо.

Она протянула деньги. Таксист отсчитал сдачу. Потом посмотрел на неё серьёзно — впервые за всю поездку. Усы замерли, руки перестали жестикулировать.

— Слушай, русская. Буэнос-Айрес — прекрасный город. Но береги вещи. Телефон и свою камеру. Не ходи одна ночью по Ла-Боке. Хорошо?

— Хорошо.

— И ешь эмпанады. Покупай только в «Ла Американа». Улица Дефенса, восемьсот. Не забудь!

— Не забуду.

Таксист улыбнулся, подмигнул и уехал, сигналив на ходу.

Марина стояла на тротуаре с двумя чемоданами, камерой, рюкзаком, в мокрой от пота футболке, в городе, который пах жарой, кофе и чужой жизнью. Тридцать шесть градусов. Февраль. Лето.

Она была в Буэнос-Айресе.

Хостел «El Viajero» оказался тем, чем и должен быть настоящий хостел. Не картинка с Booking — «уютное гнёздышко с аутентичной атмосферой». Старый дом со скрипучими половицами, потолками в четыре метра и краской, помнившей, наверное, ещё Перона.

За стойкой ресепшна стоял симпатичный парень лет двадцати.

— Бронь? Соколова? Да. Общая комната, шесть кроватей. Третий этаж. Лифта нет.

Третий этаж без лифта — и это с двумя чемоданами. Лестница скрипела так, будто каждый шаг был личным оскорблением от дома к посетителю. Марина тащила вещи, проклиная всё на свете: себя, Буэнос-Айрес, все хостелы, Aviasales и тот самый момент, когда палец ткнул в карту именно в этот город.

Комната. Шесть двухъярусных коек, три из которых заняты. На одной — храпящий немец в одних трусах. Почему немец — она не знала, но была в этом полностью уверена. Храпел как трактор: маленький, но настойчивый, звук вибрировал в стенах. На другой — девушка с книгой. Она прилежно кивнула и вернулась к чтению. Третья пустая, заправленная. Её.

Марина села на нижнюю койку — пружина скрипнула, жалобно, как живое существо. За окном — внутренний дворик, где кто-то играл на гитаре. Плохо. Но с чувством, будто ему плевать на ноты.

Она достала телефон и написала маме: «Долетела. Жива. Жарко очень. Видела козу в аэропорту. Таксист болтал 40 минут без остановки. Теперь я в комнате с храпящим немцем. Всё хорошо».

Мама ответила через минуту: «Шапку не забыла?»

Марина громко засмеялась. Немец захрюкал во сне. Девушка с книгой подняла глаза.

— Извините, — сказала Марина.

— Ничего, — ответила та по-английски с лёгким акцентом. — Я из Финляндии. Он храпит уже три часа. Я привыкла. К нему можно привыкнуть, как к холодильнику — сначала бесит, потом перестаёшь замечать.

Финка, храпящий немец, русская с чемоданами. Интернационал на третьем этаже аргентинского хостела без лифта.

Вот он, мой контент, — подумала Марина. Не «ТОП-10 мест». А это. Немец в трусах, финка с книгой, гитара во дворе, жара, пот, скрипучая койка.

Она достала камеру. Включила. Посмотрела в объектив.

— Всем привет, — сказала тихо, почти шёпотом. — Я в Буэнос-Айресе. И я не знаю, что делаю.

Выключила. Рано. Пока просто жить.

Вечером Марина вышла.

Сан-Тельмо в сумерках преобразился. Днём — жаркий, пыльный, сонный. Вечером — живой, музыкальный, пахнущий едой так, что голова кружилась. Асадо — на каждом углу, в каждом дворе, город пах как одна большая кухня.

Она шла по Дефенса, мимо антикварных лавок с граффити на стенах, мимо старика с бандонеоном на углу — он играл с закрытыми глазами, будто не для прохожих, а для себя. Мимо пары, танцевавшей прямо на тротуаре — без музыки,

просто медленно, близко, как будто мира для них вообще не существовало. Танго. Настоящее, не для туристов и камеры. Только для себя.

Марина остановилась. Долго смотрела. Ей почему-то нравилось, и в какой-то момент даже стало немного завидно.

Мужчина вёл, женщина следовала — но не покорно, отвечала, каждый шаг был вопросом и ответом. Его рука на её спине — уверенная. Её нога скользила между его ног — как ключ, входящий в замочную скважину. И ноги говорили то, что слова не могут: о доверии, о любви, о чём-то, чему нет названия.

Марина стояла и чувствовала, как в груди что-то сжимается — не боль, не зависть, а что-то, для чего у неё не было названия. Тоска? Надежда? Оба слова были слишком бледными.

Вот зачем я здесь, — поняла она. Не для блага. Не для охватов. Просто чтобы стоять на чужом тротуаре и смотреть на танец, и чувствовать, что я ещё живая.

Она не достала камеру. Рефлекс не сработал. Впервые за три года.

Просто стояла, смотрела и дышала.

Потом она нашла «Ла Американа». Улица Дефенса, восемьсот. Как и сказал таксист.

Эмпанады — три штуки: с мясом, с сыром, с кукурузой. Горячие, тесто хрустело, внутри сок тёк по пальцам, и она

облизывала их, как ребёнок, не стесняясь. Пиво — холодное, горьковатое, с лёгкой кислинкой.

Она сидела на пластиковом стуле, ела, пила и смотрела на улицу. Буэнос-Айрес жил вокруг неё — громко, ярко, но почему-то не страшно. Почему-то тёплый.

Телефон пиликнул. Уведомление. YouTube: «СЕКРЕТНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ» набрал 3 412 просмотров.

Три тысячи четыреста двенадцать. На двести больше, чем вчера.

Марина посмотрела на цифру, потом на эмпанату. Откусила. Она была более реальной.

— Пошло ты, — сказала она видео — ласково, без злобы, как старому другу, который надоел, но которого не выкинуть.

И доела эмпанату до последнего кусочка, вытирая сок пальцем.

Всё было хорошо. Она была там, где ей и следовало находиться.

Глава 3. Город-болезнь

Глава 3. Город-болезнь

Первые три дня Марина снимала. Упорно, методично — как на работе. Как будто если она будет вставать в семь утра, красить ресницы, надевать «небрежно-стильный» наряд и выходить с камерой — всё вернётся. Охваты, лайки, комментарии, ощущение, что она кому-то нужна. Что она не просто девушка из хостела в чужом городе. Что она кто-то.

Кто-то. Слово повисло в голове, как пустой стакан. Она даже не знала, кого туда налить.

День первый. Ла-Бока. Каминито.

Марина стояла на фоне разноцветных домов — жёлтых, синих, красных, как в детском рисунке, — и улыбалась в камеру.

— Ребята, вы только посмотрите! Это Каминито, самая фотогеничная улица Буэнос-Айреса! Здесь каждый дом как произведение искусства! Здесь родилось танго! Здесь...

Она запнулась. Потому что за камерой, в трёх метрах, стояла группа китайских туристов с селфи-палками и делала ровно то же самое. Улыбалась, фотографировалась, говорила «вау». И их «вау» было таким же фальшивым, как её «ребята, вы только посмотрите». Они были такими же, как она. Туристами, контентом, продуктом. И от этого стало тошно

— физически, как будто что-то подступило к горлу.

Марина выключила камеру. Пересняла. Ещё раз. Ещё. Пятый дубль. На шестом бросила. Села на бордюр и посмотрела на разноцветные дома. Дома были красивые. Дома были настоящие. А она — фальшивая. И это было видно. Не ей. Всем.

День второй. Рынок Сан-Тельмо. Воскресенье.

— Это самый старый рынок города! Здесь можно найти всё: от антикварных...

Толпа, жара, тридцать четыре градуса. Пот тёк по спине, камера тянула шею вниз, плечи затекли так, что она перестала их чувствовать. Кто-то толкнул её локтем, кто-то крикнул что-то по-испански — она не разобрала. Старик рядом продавал старые пластинки и смотрел на неё так, будто она сумасшедшая. Как на девушку, которая разговаривает сама с собой посреди рынка. Которая, в общем-то, и разговаривала сама с собой.

— ...от антикварных вещей до... до...

Она забыла слово. Стояла посреди рынка с камерой, с открытым ртом, и не могла вспомнить, что хотела сказать. Как будто слово было на кончике языка — и упало. В толпу, в жару, в чужой город. Упало и разбилось, как стеклянная бутылка об асфальт.

Выключила.

День третий. Район Палермо. Стрит-арт, кофейни, «модные места Буэнос-Айреса».

Марина сидела в кофейне и снимала «эстетику». Латте-арт на пенке, кирпичная стена, растения в горшках. Всё красивое, всё правильное, всё, что должно набрать лайки. Девушка за соседним столиком смотрела на неё с жалостью. Не с завистью, не с интересом — с жалостью. Как смотрят на бездомную собаку, которая сидит у входа в магазин и смотрит на еду, которой ей не дадут.

— Ты контент-криэйтор? — спросила та по-английски. Австралийка, загорелая, с рюкзаком, с видом человека, который путешествует уже полгода и не собирается останавливаться.

— Да, — сказала Марина.

И почувствовала, как слово «да» звучит как «нет». Как «я не знаю». Как «я была. Наверное. Может быть. Когда-то. В другой жизни. Когда у меня был диван».

— Круто, — сказала австралийка и вернулась к своему кофе. К своему рюкзаку, к своей жизни, в которой был смысл. Или хотя бы его иллюзия. Марина уже не различала.

Она сняла ещё три дубля. Выложила в сторис. Через час — сорок два просмотра. Сорок два из ста сорока трёх тысяч. Сорок два человека. Остальные — сто сорок две тысячи девятьсот пятьдесят восемь — не посмотрели. Не захотели, не заметили. Им всё равно. Или не всё равно? Или она просто делает вид, что всё равно?

Она удалила сторис.

К вечеру третьего дня Марина сидела на крыше хостела.

«Крыша» — это громко сказано. Плоская бетонная площадка с двумя пластиковыми стульями, верёвкой для белья и видом на чужие крыши. Но отсюда было видно небо — огромное, южное, с созвездиями, которых она не знала. Южный Крест. Где-то там, внизу, Буэнос-Айрес гудел, сигналил, жарил мясо и жил. А здесь было тихо. И ветер — тёплый, но всё же ветер.

Марина пила мальбек из бутылки. Без бокала. Бокал — это для людей с диваном. У неё — пластиковый стул и бутылка за три доллара из супермаркета. Мальбек был хороший: тёмный, с ягодами, с чем-то дымным. Не как то, что она пила в Екатеринбурге — то было «вино для блага», для красивого кадра, для «эстетики». Это вино было для себя. Для того, чтобы сидеть на чужой крыше, в чужом городе, в чужой жизни — и не притворяться.

Она пила и думала.

Три дня. Три дня я хожу с камерой и улыбаюсь. И это полное дерьмо! Не город — город офигенный. Город живой. А я — фальшивая. Я стою на фоне разноцветных домов и говорю «ребята, вы только посмотрите», как будто не видела этих домов в пятидесяти блогах до меня. Как будто не знаю, что это контент, продукт, товар. Как будто я не такая же, как те китайские туристы с селфи-палками.

А они чувствуют. Подписчики чувствуют фальшь. Раньше не чувствовали — или я не фальшивила. Раньше я снимала, потому что хотела. Потому что было интересно. Потому что видела что-то и думала: «О, надо рассказать». А сейчас снимаю, потому что НАДО. Потому что алгоритм. Потому что контракт. Потому что если не выложу пост — меня забудут.

И они уже забывают. Сорок два просмотра. Сорок два человека из ста сорока трёх тысяч. Остальным всё равно. Я им всё равно.

Марина отпила. Поморщилась — не от вина. От правды.

Я не блогер. Я не модель. Я не travel-инфлюенсер. Я девочка из Екатеринбурга, которая сидит на крыше в Буэнос-Айресе, пьёт дешёвое вино и не знает, зачем она здесь.

Зачем я здесь?

Вопрос повис в воздухе. Как дым, как запах асадо с соседней крыши, как гитара во дворе, которая играла что-то медленное и грустное. Марина не знала ответа — и это было страшнее всего. Не то, что кончились деньги. Не то, что кончились контракты. А то, что кончился смысл. Тот, который был три года назад, когда она впервые взяла камеру и подумала: «Я покажу людям мир. По-своему. Не как в путеводителях, а как я его вижу».

Куда делось «как я его вижу»? Когда оно превратилось в «как хочет алгоритм»? Когда «я» стало «контентом»? Когда она перестала быть Мариной и стала «travel-блогером Мариной»? И есть ли разница? И была ли она когда-нибудь?

Она допила бутылку, поставила на бетон, посмотрела на Южный Крест.

— Ладно, — сказала она звёздам. — Завтра не снимаю. Завтра просто гуляю. Без камеры, без плана, без «ТОП-10». Просто хожу, смотрю, и живу.

Звёзды не ответили. Но мигнули. Или показалось? Может всё же мальбек?..

День четвёртый. Без камеры.

Марина вышла из хостела в десять утра. Без штатива, без микрофона, без «небрежно-стильного» наряда. В шортах, в майке, в шлёпанцах. С телефоном в кармане на всякий случай и с бутылкой воды — потому что в тридцать пять градусов без воды ты труп.

И пошла. Без плана, без маршрута. Куда ноги несут, куда глаза смотрят.

Сан-Тельмо днём был ленивым. Жарким, сонным. Старые дома с закрытыми ставнями, кошки на подоконниках. Старик на углу пил мате и смотрел в никуда — или во всё сразу. Собака спала посреди тротуара, и все её обходили. Никто не пинал, никто не кричал. Просто обходили. Как будто собака была частью улицы. Как фонарь или как дерево.

Марина шла и смотрела. Не снимала. Просто смотрела.

И город ей открылся.

Не тот, из блогов. Не «ТОП-10 мест». Другой. Тихий и настоящий. Дворик с геранью — красной, наглой, которая

лезла из горшка во все стороны. Старая дверь с облупившейся краской, за которой слышно радио и чей-то голос — кто-то пел. Женщина развешивала бельё и пела. Фальшиво, но ей было всё равно. Она пела для себя, для белья, для неба. Мальчик гонял мяч по мостовой и кричал «Гол!» в пустые ворота. В пустые! Но кричал так, будто забил, будто это финал чемпионата мира.

Марина шла и улыбалась. Не для камеры. Для себя. Для мальчика. Для женщины с бельём. Для собаки на тротуаре.

К вечеру ноги гудели. Она прошла километров пятнадцать — не считала, не смотрела в карту. Просто шла. И ноги привели её в Ла-Боку.

Она была здесь в первый день. Снимала Каминито, улыбалась, говорила «ребята». Но сейчас был вечер — и Ла-Бокка была другой.

Туристы ушли. Селфи-палки убрались. Разноцветные дома потемнели. Фонари зажглись — жёлтые, тёплые, как в старом кино. Из-за дверей баров доносилась музыка — не для туристов, для своих. Гитара, голос, хлопки. И запах — мясо, дым, пиво, пот. Живой запах. Человеческий.

Марина шла по улице, которая днём была открыткой, а вечером стала живой. Грязной, шумной, немного страшной — и настоящей.

И тут она увидела.

Вывеска. Неоновая, мигающая, красная с оранжевым. Буквы плясали, как пьяные: «EL FUEGO NEGRO». Чёрный

огонь.

Под вывеской — дверь. Чёрная, металлическая, без окон. Рядом — вышибала. Огромный, с бородой, с татуировкой на шее. Смотрел в телефон. Не на неё. Как будто она для него не существовала. Как будто дверь не существовала. Как будто он просто стоял, покурить.

Из-за двери доносился бас — низкий, густой, как сердцебиение. Голоса, смех, и что-то ещё — не музыка, не разговор. Что-то между. Что-то, что тянуло за собой.

Марина остановилась. Посмотрела на вывеску. На дверь и только потом на вышибалу.

Нет, — подумала она. — Я не пойду туда. Я не знаю, что это. Я одна и в чужом городе. Не знаю, что за дверью. Не знаю, безопасно ли. Я не знаю...

Бас ударил снова. Из-за двери вырвался громкий женский смех.

...я три дня ходила с камерой и улыбалась фальшиво. Я сидела на крыше и пила мальбек и жалела себя. Я прилетела сюда, чтобы жить. А не чтобы стоять на пороге и бояться. Не для этого. Не за восемьдесят семь тысяч рублей.

Марина подошла к вышибале.

— Привет, — сказала она. — Что это за место?

Вышибала посмотрел на неё сверху вниз. Как на муху, которая села на его телефон.

— Клуб, — ответил он. — Ночь. Танцы.

— Можно войти?

Он пожал плечами. Отошёл. Как будто ему было всё равно. Как будто она не человек, а ветер. Зашла — и зашла.

Марина толкнула дверь...

Внутри было темно.

Не темно словно «выключили свет», а темно как будто тут «другой мир». Красный свет, низкий потолок, дым — не сигаретный, что-то сладкое, тяжёлое. Бас шёл не из колонок. Он шёл из пола, из стен, из костей. Марина чувствовала его в рёбрах, в зубах, в животе. Как второе сердцебиение. Чужое.

Люди. Много, тесно. Тела двигались в полумраке — не танцевали, двигались. Медленно, близко, как будто каждый танец был разговором, который не должен слышать никто. Шёпот тел.

Бар — длинный, тёмное дерево, а на столешнице бутылки и стаканы. Барменша — женщина лет сорока, с короткими волосами и татуировкой на предплечье — наливала ром, не глядя. Как будто руки сами знали, сколько.

И сцена — в глубине, низкая, освещённая одним прожектором. Пустая. Пока пустая. Но вокруг неё — стулья и люди, и ожидание. Что-то сейчас будет. Что-то, ради чего они пришли. Ради чего сидели. Ради чего ждали.

Марина стояла у входа, прижимаясь к стене. Сердце колотилось — не от страха. От чего-то другого. От басов, от дыма, от тел, от того, что она здесь. Одна, в чужом клубе, в чужой стране. Без камеры, без плана, без «ребята, вы только посмотрите». Просто здесь. Живая, настоящая. Впервые за

три дня.

Она подошла к бару, села на высокий стул.

— Пиво, — сказала она. — Пожалуйста.

Барменша посмотрела на неё и вдруг улыбнулась одной стороной рта.

— Первый раз?

Марина кивнула.

— Заметно. — Барменша поставила перед ней пиво. — Расслабься, русская. Здесь тебя никто не ест.

Марина моргнула.

— Вы говорите по-русски?

Барменша хмыкнула.

— Я говорю на шести языках. Русский — седьмой. Плохо на нём говорю. Но то, что ты «русская» вижу по твоему лицу и по тому, как ты сидишь. Как будто ты извиняешься.

Марина не знала, что на это ответить. Никто ей такого не говорил. Никто не смотрел на неё и не видел, что она извиняется. Что она сидит и думает: «Простите, что я тут. Простите, что существую. Простите, что я не контент».

Она обхватила бутылку — холодную, с конденсатом на пальцах. Отпила. Горькое, холодное, живое.

Сидела, пила, смотрела вокруг.

Клуб жил вокруг неё. Люди смеялись, пили, танцевали, спорили, целовались. Жили. Но делали это громко, тесно и по-настоящему. Без камеры, без этих «ребята», без «подписывайтесь». Они просто жили.

И Марина думала: «Вот. Вот это! Не Каминито, не рынок, не кофейня в Палермо. Вот это — место, где никто не притворяется. Где никто не снимает контент. Где люди просто есть. Двигаются, пьют, живут».

Я хочу это запомнить. Не для блога. Для себя. Чтобы помнить, что я здесь была. Что я это видела. Что я была живая. Камеры не было. И это было правильно.

Она допила пиво, заказала ещё. Потом ещё. Не много — два, три. Достаточно, чтобы расслабиться. Недостаточно, чтобы потерять голову. Хотя голова уже немного плыла — от басов, от дыма, от того, что она здесь.

В десять часов свет в клубе изменился. Стал краснее, гуще. Бас стал ниже. Люди зашевелились, повернулись к сцене. Как подсолнухи к солнцу. Как стрелки компаса к северу.

Марина отреагировала и тоже повернулась.

Прожектор мигнул. Включился.

И на сцену вышел он — босой, с мокрыми волосами, с таким видом, будто ему плевать на весь зал. И посмотрел прямо на неё.

Но это уже следующая глава.

Глава 4. El Fuego Negro

Глава 4. El Fuego Negro

Он вышел на сцену так, будто вышел покурить на балкон. Без позы, без «здравствуйте, я сейчас буду вас развлекать». Просто шагнул из темноты в круг света, постоял секунду, поворошил волосы рукой и посмотрел в зал. Скучаяще, как человек, который делает это в сотый раз и которому, в общем-то, всё равно, смотрите вы или нет.

Марина в этот момент отпивала пиво. И поперхнулась.

Не потому что он был красивый — хотя, конечно, чего уж там. Тёмные волосы, чуть длиннее, чем положено приличному человеку, падали на лоб. Скулы — такие, что хотелось потрогать, просто чтобы убедиться, что не нарисованы. Тело не из качалки, не из этого всего фитнес-лайфстайла, которым забит Instagram, а другое: жилистое, гибкое, как у кота, который лежит на подоконнике и делает вид, что ему плевать на весь мир. Но ты-то знаешь: он прыгнет быстрее, чем ты моргнёшь.

Нет, не в красоте дело.

Дело в том, как он посмотрел.

Он обвёл зал медленно, без интереса, как официант, проверяющий, все ли заказы приняли. Взгляд скользил по рядам, столам, лицам — и нигде не задерживался. Нигде, кроме одного места.

Кроме неё.

Марина сидела у бара с бутылкой в руке и чувствовала, как его взгляд ложится на неё физически. Как ладонь на плечо — не грубо, не пошло, просто кладёт руку и держит. И ты не можешь стряхнуть, потому что не хочешь.

Он смотрел на неё секунды три, может, четыре. Потом уголок рта дёрнулся — не улыбка, тень улыбки, намёк. Как будто он увидел что-то забавное и решил пока не смеяться.

И заиграл бандонеон.

Марина даже не сразу поняла, откуда звук. Потом увидела: в углу, в тени, за столиком, который никто не занял, сидел старик. Седой, в жилетке, с бандонеоном на коленях. И играл — медленно, тягуче, как будто растягивал резину, как будто время для него шло по-другому, не так, как для всех остальных в зале.

А поверх бандонеона лёг бас. Электронный, низкий, из колонок. Старое и новое сплелись, и получилось что-то, чего Марина раньше не слышала. Танго, но не то, которое играют для туристов на Каминито. Другое: тёмное, клубное, живое.

И он начал танцевать.

Марина ожидала стриптиз. Чего уж там, она знала, куда пришла. Вывеска, вышибала, дым, бас. Ожидала: парень снимает рубашку, крутится, женщины визжат, летят деньги. Она это в кино видела, в сериалах. Знала, как это работает.

Тут это работало иначе.

Он двигался медленно. Каждый шаг — как слово. Не то-

ропился, не красовался. Руки в воздухе рисовали что-то, чего Марина не видела, но чувствовала: пальцы, запястье, изгиб локтя. Как будто он держал невидимую женщину, как будто танцевал с кем-то, кого нет в зале. Или с кем-то, кто есть.

Потому что он смотрел на неё.

Не всё время, не нагло. Но каждый поворот, каждый шаг приводил его глаза обратно к ней. Как стрелка компаса — куда бы он ни повернулся, стрелка возвращалась. И каждый раз, когда их взгляды встречались, у Марины внутри что-то щёлкало. Тихо, как затвор: кадр, ещё кадр, ещё.

На третьем такте он снял рубашку. Медленно, без рывков, без театрального жеста. Просто расстегнул, стянул, бросил на пол. И даже не посмотрел на неё — смотрел только на Марину. А рубашка лежала на полу, и никто на неё не смотрел, и это было правильно, потому что рубашка была не главное.

Марина не визжала и не хлопала, не доставала телефон. Сидела с бутылкой и смотрела. И не могла перестать. Не хотела.

Барменша, та, с татуировкой, наклонилась к ней через стойку.

— Нравится?

Марина не ответила. Не потому что не хотела — потому что горло сжалось, и если бы она открыла рот, вышло бы что-то нечленораздельное. Писк или всхлип.

— Его зовут Матео, — сказала барменша. — Третий год

тут. Лучший. И самый, — она поморщилась, подбирая слово, — неудобный.

Матео. Ма-те-о. Три слога. Марина повторила про себя — на языке было тепло.

Танец шёл. Бандонеон тянул, бас гудел, Матео двигался и смотрел. Марина сидела и смотрела в ответ. Время, которое старик в углу растягивал, как резину, действительно растянулось. Или остановилось. Или Марина выпила слишком много пива, и ей кажется. Может быть. Но сейчас ей было всё равно.

Когда танец кончился, зал взорвался: аплодисменты, свист, кто-то крикнул что-то по-испански, женщина за соседним столом хлопала так, будто Матео лично спас её от налоговой. На сцену полетела купюра, потом ещё.

Матео поклонился — коротко, без улыбки, как актёр, который играл Гамлета в сотый раз и которому уже не смешно. Ушёл за кулису. Свет погас, музыка сменилась, бас вернулся. Зал заговорил, задвигался, потянулся к бару.

А Марина сидела. Пиво в руке давно нагрелось, конденсат стёк по пальцам, капал на стойку. Она не замечала.

«Что это было? — думала она. — Серьёзно. Что это было?»

Сердце колотилось, щёки горели, руки дрожали — и она не понимала, от чего. Не от алкоголя, три пива — это не алкоголь. От чего-то другого. От того, что три минуты назад какой-то парень на сцене смотрел на неё так, будто в зале

триста человек, а видит только одного. И это было не шоу. Или было шоу. Или ей хотелось, чтобы не было. Она не знала — и от этого незнания было ещё хуже. Или лучше.

«Тебе кажется, Марина, — сказала она себе. — Он смотрит на всех. Это его работа. Ты одна из трёхсот. Не придумывай».

Но руки всё равно дрожали. И внутри всё равно щёлкало. И рубашка на полу всё равно была не главное.

Прошло минут двадцать. Может, двадцать пять. Марина допила тёплое пиво, заказала воду, выпила половину и пыталась убедить себя, что ничего не произошло. Обычный клуб, обычный стриптизёр, обычный танец. Просто выпила лишнего и впечатлилась. Завтра проснётся — и это будет глупое воспоминание, как в шестнадцать лет, когда она влюбилась в мальчика из параллельного класса, потому что он посмотрел на неё в столовой.

Она уже почти убедила себя.

— Ты не снимала.

Голос — низкий, с хрипотцой, с акцентом, который делал английские слова мягкими, тягучими. Как тот бандонеон — как будто он не говорил, а играл.

Марина подняла голову.

Он стоял перед ней. Матео. Без рубашки, в чёрных брюках, босой. Волосы мокрые — видимо, умылся за кулисами. На ключице тонкая цепочка. И запах — пот, мыло, что-то

тёплое. Не парфюм. Живой человек. Не картинка, не танец. Живой человек, который стоит перед ней босиком и пахнет мылом.

— Что? — сказала Марина. Умнее ничего не придумала.

— Ты не снимала, — повторил он. Говорил теперь уже по-испански, медленно, подбирая слова, как человек, который идёт по камням через ручей. — Все снимают: телефон, видео, фото. Все. А ты — нет.

Марина посмотрела на свои руки — пустые. Телефон в кармане, камера в хостеле на третьем этаже, под койкой. Она даже не подумала достать. Ни разу. За три года такого не было.

— Я забыла, — сказала она. И это было чистой правдой. Забыла. Не «решила не снимать», не «принципиально». Просто вылетело из головы.

Матео хмыкнул — не насмешливо, а скорее удивлённо. Как будто она сказала что-то, чего он не ожидал. Как будто «я забыла» было интереснее, чем «я принципиально не снимаю чужие тела».

— Забыла.. — повторил он. И улыбнулся — не сценической улыбкой, а другой. Кривой, тёплой, с ямочкой на левой щеке, которой не было, когда он танцевал. — Это редко.

Он сел на барный стул рядом. Босые ноги на перекладину. Взял стакан воды, который барменша поставила перед ним без вопросов, выпил залпом. Посмотрел на Марину.

— Откуда ты? — Он почему-то полностью перешёл на ис-

панский в полной уверенности, что он ей знаком.

— Россия. Екатеринбург. — машинально ответила она ему на испанском и даже этого не заметила.

— Россия. — Он сказал это с таким уважением, будто она прилетела не из Екатеринбурга, а с Луны. — Далеко.

— Ага.

— Зачем здесь?

Марина открыла рот, закрыла. Что сказать? Правду? «Я прилетела, потому что у меня три тысячи просмотров и я ем пельмени из кастрюли»? «Я прилетела, потому что не знаю, кто я, если у меня нет камеры в руках»? «Я прилетела, потому что ты танцевал, и я забыла телефон, и это впервые за три года, и мне от этого страшно»?

— Не знаю, — просто сказала она.

Матео посмотрел на неё долго, как будто взвешивал не ответ, а её. Потом кивнул.

— Честно. Это тоже редко.

Он протянул руку:

— Матео.

Она пожала — ладонь тёплая, сухая, с мозолями на пальцах. От бандонеона? От шеста? От чего-то ещё? Она подержала его руку на секунду дольше, чем нужно. Потом отпустила. Потом пожалела, что отпустила. Потом пожалела, что пожалела.

— Марина.

— Марина. — Он попробовал на вкус, пожевал. — Ма-

ри-на. Красиво. Как море. По-русски море — это как?

— Море.

— Море, — повторил он. — Да. Похоже.

Он улыбнулся — ямочка вернулась.

— Ты одна? — спросил. И сразу поморщился: — Извини.

Глупый вопрос.

— Глупый, — согласилась Марина. — Но да. Одна.

— В клубе, одна, в Ла-Боке, ночью.

— Я храбрая.

— Или сумасшедшая?

— В России это одно и то же.

Он засмеялся тихо, не «ха-ха», скорее выдох. Как будто смех вырвался случайно и он сам удивился.

— Ты смешная, — сказал он.

— Ты тоже. Для стриптизёра.

Он поднял бровь, посмотрел на неё. В глазах мелькнуло что-то — не обида, скорее интерес.

— Стриптизёр, — повторил он с иронией, пробуя слово на зуб. — Да. Я стриптизёр.

— Извини, я не хотела...

— Нет-нет. — Он махнул рукой. — Я стриптизёр. Это то, что я делаю, не то, что я есть. Понимаешь?

Марина посмотрела на него: на руки, на цепочку, на босые ноги в кедах, которые он ещё не зашнуровал, на то, как он сидит — расслабленно, не развязно, не стыдливо. Просто сидит, как человек, который не извиняется за то, где он. Но

и не хвастается.

— А что ты есть? — спросила она.

Он моргнул, посмотрел на неё так, будто она спросила что-то неприличное. Или что-то, чего ему давно не задавали.

— Никто не спрашивает, — сказал он тихо. — Обычно спрашивают: сколько стоит танец, можно фото, где живёшь.

— А я спрашиваю: что ты есть?

Он молчал. Бас гудел, кто-то за соседним столом смеялся, бандонеон молчал — старик ушёл на перерыв.

— Танцор, — сказал Матео тихо, как будто боялся, что слово украдут. — Я танцор. Танго. С двенадцати лет. Дед танцевал, отец танцевал, я танцевал. А потом... — он сделал неопределённый жест рукой, — потом жизнь. И теперь я здесь.

Он обвёл клуб рукой: дым, бас, тела, красный свет.

— Но я танцор, — повторил он. — Не стриптизёр. Танцор.

Марина кивнула медленно. Ей хотелось сказать что-то умное, глубокое, что-то, что покажет, что она понимает. Но в голове было пусто.

— Я тебя видела, — сказала она. — Когда ты танцевал. Это было не стриптиз. Это было...

Она искала слово — на русском, на испанском, на английском. Не находила.

— ...правда, — закончила она. Глупо, просто. Но другого слова не было.

Матео смотрел на неё долго, без улыбки, без иронии. В глазах было что-то — удивление, благодарность, голод. Или всё сразу.

— Ты странная, Марина из России, — сказал он наконец.
— Ты тоже, Матео-танцор.

Он засмеялся снова, грудью, и на этот раз не случайно. На этот раз для неё — она это поняла.

Они говорили три часа.

На испанском, на ломаном английском, когда не находили нужные слова, с жестами, с паузами. С рисунками на салфетке, когда слова на обоих языках совсем кончались. Он нарисовал бандонеон, она нарисовала пельмень, он решил, что это сумка. Она обиделась, объяснила жестами: тесто, мясо, вода, варить. Он нарисовал ещё раз — получилось похоже на НЛО. Она засмеялась, он обиделся, потом оба засмеялись.

Он рассказал: тридцать лет, Буэнос-Айрес, Ла-Бока, три улицы отсюда. Живёт один, квартира маленькая, «как коробка для обуви, но моя». Танцует в клубе три раза в неделю, иногда чаще. Днём подрабатывает: грузчик, бармен, учитель танго для туристов. «Туристы хотят танго за два часа. Я говорю: танго — это жизнь. Они говорят: нет, у нас автобус в пять».

Она рассказала: двадцать восемь, Россия. Была моделью, не стала — виной колено. Потом блог, потом блог умер. Потом пельмени на полу, потом билет в один конец.

— Пельмени? — переспросил он.

— Русская еда. Тесто, мясо, вода, грусть.

Он засмеялся:

— Грусть в тесте. Это очень по-русски.

— Ты не представляешь, насколько.

Он рассказал про деда, про подвал, где старики танцевали так, будто завтра не наступит. Про то, как дед в двенадцать лет привёл его туда и сказал: «Танго — это не шаги. Танго — это разговор. Ты говоришь ногами, ты слушаешь ногами. Если не слушаешь — ты не танцуешь. Ты просто дёргаешься».

Она рассказала про камеру, про то, как три года смотрела на мир через объектив и забыла, как смотреть без него. Про три тысячи просмотров, про то, как стояла на Каминито и чувствовала себя фальшивкой.

— Фальшивка, — повторил он, пробуя слово. — Fake. Да?

— Да.

Он покачал головой:

— Ты не fake. Ты здесь, одна, без телефона, без камеры, смотришь на меня. Это не fake. Это... — он постучал пальцем по груди, — настоящее.

Марина почувствовала, как что-то сжалось в горле. Не заплакала, но было близко. Очень близко. Она отпила воды, чтобы не показать нахлынувшее чувство.

— Ты всегда так говоришь с девушками в баре? — спросила она. Чтобы не расплакаться, чтобы вернуть всё в шутку, в «мы просто болтаем, ничего не значит».

— Нет, — сказал он. — Обычно я говорю: спасибо, чаевые на стойке.

Она засмеялась, он засмеялся. Барменша, Люсия — она представилась где-то между вторым и третьим пивом, — поставила перед ними ещё по бутылке. За счёт заведения, подмигнула, ушла.

В два часа ночи клуб начал пустеть. Музыка стала тише, свет теплее. Люди расходились: пары, компании, одиночки, которые шли домой или не шли.

Матео и Марина всё сидели — бок о бок, бутылки пустые, салфетка в рисунках: бандонеон, пельмень, НЛЮ. И ещё что-то, что он нарисовал в конце. Похоже на двух человечков: один с камерой, другой босой. Под ними кривая надпись по-английски: «Marina & Mateo. No photo. Only dance».

— Мне пора, — сказала Марина, посмотрела на телефон: два пятнадцать. — Хостел, третий этаж, без лифта.

— Я провожу.

— Не надо. Я храбрая.

— Или сумасшедшая.

— Мы это уже обсуждали.

Он встал, взял рубашку со спинки стула, надел, застегнул. И вдруг стал обычным — не танцором, не тем со сцены. Просто парнем в мятой рубашке, с мокрыми волосами, который втискивает босые ноги в кеды и морщится, потому что кеды жмут.

— Завтра, — сказал он. Не вопрос, утверждение. — Ты

здесь будешь завтра?

Марина посмотрела на него — на руки, зашнуровывающие кеды, на цепочку, на ямочку, которой сейчас не было, потому что он не улыбался. Он ждал. Серьёзно, без игры, без «ну, может, заглянешь». Ждал.

— Да, — сказала она. — Я буду здесь завтра.

Он кивнул, взял куртку.

— Тогда завтра в девять. Я не работаю. Я покажу тебе не Каминито, не туристическое. Настоящее как оно есть. Если захочешь...

— Уже хочу.

Он улыбнулся — ямочка вернулась.

— Тогда до завтра, Марина из России!?

— До завтра, Матео-танцор.

Он пошёл к выходу, остановился, обернулся:

— Марина.

— Да?

— Спасибо, что не снимала.

И ушёл. Дверь закрылась, бас стих. Или не стих — просто она перестала его слышать.

Марина сидела одна в пустеющем клубе, с салфеткой и тёплым пивом, которое так и не допила, с сердцем, которое колотилось как после бега. Хотя она сидела на месте три часа.

Люсия подошла, забрала пустые бутылки, посмотрела на Марину.

— Ну? — сказала она по-русски.

— Что «ну»?

— Ты сидишь тут сорок минут с открытым ртом. У тебя пиво тёплое. Ты не заметила?

Марина посмотрела на бутылку — тёплая. Действительно.

— Он... — начала она и не закончила. Не знала, что сказать. Красивый? Интересный? Смотрел на меня? Нарисовал пельмень как НЛЮ?

— Красивый, да. Все так говорят. — Люсия пожала плечами. — Но ты не все. Ты не снимала. Он это заметил. Он всегда замечает такое.

— Ты его знаешь?

— Все три года. Он мой друг. Не больше. Он не для отношений, он сам не знает, чего хочет. Но ты, — она посмотрела на Марину, — ты, может, другая.

— Я не другая. Я просто забыла телефон.

Люсия хмыкнула:

— Забыла. Да. Конечно...

Она ушла протирать стаканы.

Марина сидела и рассматривала салфетку. Мечтательно гоняла образы в голове.

Что ты делаешь, Марина?

Она не знала. Но завтра в девять она будет здесь. И он покажет ей настоящий Буэнос-Айрес. Не Каминито, не «ТОП-10». Настоящий.

Камеру она с собой не возьмёт.

Она вышла из клуба в три часа ночи. Ла-Бока спала, фонари горели, где-то далеко лаяла собака. Тепло.

Марина шла по улице одна, ночью, в Ла-Боке. Таксист предупреждал: не ходи одна. Сейчас ей было всё равно. Она шла и улыбалась — глупо, широко, как в шестнадцать лет, когда мальчик из параллельного класса посмотрел на неё в столовой. Только сейчас ей было не шестнадцать, и мальчик был не из параллельного, и смотрел не в столовой. А на сцене, босой.

Она дошла до хостела, поднялась на третий этаж.

В комнате храпел немец, финка спала тихо.

Марина легла, посмотрела в потолок.

Матео, — подумала она. И имя было как глоток мальбека: тёплый, с ягодами, с дымом.

До завтра.

Она уснула с салфеткой в руке, с бандонеоном в ушах, с ямочкой на левой щеке перед закрытыми глазами. Образ Матео отпечатался в её мозгу.

Глава 5. Ты не фальшивка

Глава 5. Ты не фальшивка

Утром Марина проснулась оттого, что немец перестал храпеть. Это было так непривычно, что она открыла глаза и подумала: он умер? Нет, не умер — сидел на койке, в тех же трусах, и ел банан. Тихо, как мышь. Финка уже ушла, койка пустая, одеяло сложено аккуратно, как в армии. На подушке записка: «Уехала в Патагонию. Удачи с немцем. — Айно.»

Марина посмотрела на телефон: восемь сорок. Встреча в девять. Спала она плохо, ворочалась, думала: про Матео, про бандонеон, про ямочку на левой щеке, про то, как он сказал «ты не фальшивка» и постучал пальцем по груди. Она чувствовала его слова на коже, там, где он коснулся пальцем груди, как будто он оставил след. Невидимый, но горячий. Про салфетку с пельменем-НЛО, которая лежала в кармане шортов. Она не выбросила её — не смогла.

Встала, умылась, посмотрела в зеркало в общем туалете. Оно было мутным, с трещиной в углу, и из него на неё глядела девушка с опухшими глазами, с волосами, торчащими во все стороны, как у человека, которого ударило током. На щеке — отпечаток подушки, на футболке — пятно от вчерашнего мальбека. Красавица. Просто красавица. Модель. Только бывшая.

Причесалась пальцами — расчёска в чемодане, а чемодан

под койкой, доставать лень. Надела шорты, майку, шлёпанцы. Посмотрела на себя ещё раз. Ну и ладно. Он видел её в три часа ночи, с тёплым пивом и открытым ртом. Хуже уже не будет.

Восемь пятьдесят пять. Спустилась на улицу.

Он стоял у входа, прислонившись к стене, в джинсах, белой футболке, кедах. Волосы мокрые, будто только из душа. В руке — стаканчик кофе из ларька на углу. Он пил и смотрел в телефон, увидел её, убрал телефон, улыбнулся. Ямочка вернулась.

— Привет!

— Привет, — отозвалась Марина и подумала: я выгляжу как бомж, а он — как человек из рекламы кофе. Несправедливо.

— Ты голодная?

— Всегда.

— Хорошо. Тогда идём.

Он не спросил, куда она хочет, не спросил, что хочет посмотреть, не сказал: «Сейчас я покажу тебе ТОП-10 мест». Просто сказал: «Идём» — и пошёл. И она пошла за ним. Не зная куда, не зная зачем, просто пошла.

Они шли по Сан-Тельмо — не по Дефенса, не по туристической, а по боковым улицам. По тем, куда не заходят автобусы с экскурсиями. Где на верёвках между балконами сохло бельё, а на подоконниках сидели кошки.

— Это мой район, — сказал Матео, обводя рукой облуп-

пившуюся, грязную, живую улицу. — Я тут вырос. Три улицы отсюда. Вон тот дом. — Он показал на здание с зелёными ставнями, на третий этаж. — Квартира деда, потом отца, потом моя.

— Маленькая?

— Как коробка для обуви. — повторил он сравнение. — Но моя! — Он сказал это с гордостью, не с извинением. Как будто коробка для обуви была дворцом. И может, для него так и было.

Они шли дальше. Матео показывал — не как гид или блогер, а как друг, показывающий свой город. Вот тут, на этом углу, дед водил его в школу. Вот тут, в этом баре, отец пил по субботам. Вот тут, на этой стене, он в четырнадцать лет нарисовал граффити, и отец его за это отлупил. Граффити закрасили, но след остался — видишь, вот тут, чуть темнее.

Они зашли в пекарню. Маленькую, с витриной, в которой лежали medialunas — аргентинские круассаны, маленькие, сладкие, липкие от сиропа. Матео купил четыре. Два съел сам, два отдал ей. Она съела — тёплые, сладкие, тесто слоилось, сироп капал на пальцы, она облизала их. Она не сразу поняла, что он смотрит — просто смотрит, как она ест. Не как на женщину, а как на ребёнка, который не знает, что его снимают. И от этого смотрелось ещё более интимно. Он посмотрел, она покраснела, он засмеялся.

— Что?

— Ничего. Ты ешь как ребёнок.

— Я ем как голодный человек.

— Голодный человек ест быстро. Ребёнок ест медленно и облизывает пальцы.

— Ну значит я голодный ребёнок.

Он засмеялся снова — грудью, выдохом. Как будто смех у него не из горла, а из груди, из того места, куда он стучал пальцем вчера. «Настоящее».

К полудню жара стала невыносимой. Тридцать семь градусов, воздух стоял, не двигался, будто город накрыли крышкой. Марина потела, Матео потел — и обоим было всё равно.

Он привёл её на крышу старого дома в Сан-Тельмо. Дверь в подъезде была открыта, лестница тёмная, пахла кошками и свежей краской. Они поднялись на пятый этаж, потом ещё по железной лестнице — и вышли на крышу.

Город открылся сразу — до самого горизонта. Крыши: красные, серые, зелёные. Купола церквей. Вдалеке река — широкая, коричневая, как чай. И небо — огромное, белое от жары. И ветер, наконец-то ветер. Тёплый, но он сушил пот на висках и шевелил волосы а это сейчас то чего и не хватало.

Матео сел на край, свесил ноги — как будто сидел на бортике ванны. Марина села рядом, сердце колотилось — не от высоты, хотя от высоты тоже. Пятый этаж, без перил — просто край, и город внизу.

— Я тут сижу, когда не могу спать, — сказал он. — Или когда не могу думать. Или когда хочу думать, но не могу.

— Это одно и то же?

— Почти. — Он посмотрел на неё, улыбнулся — не ямочкой, просто глазами. — Ты боишься высоты?

— Да.

— Тогда не смотри вниз.

— Спасибо. Очень вовремя...

Он засмеялся, она тоже. Они сидели на краю крыши, свесив ноги, и смотрели на город. Молчали. Она боялась нарушить тишину — не потому что молчание было неловким, а потому что оно было слишком правильным. Как будто если сказать хоть слово, всё это исчезнет, и она снова останется одна. Не нужно было говорить, не нужно было снимать, не нужно было «ребята, вы только посмотрите». Просто сидеть, рядом, с ветром, с городом, с тишиной, которая не была тишиной — город гудел, сигналил, кричал, но на крыше это было далеко, как радио из соседней квартиры.

Марина думала: «Я знаю его один день. Всего один день! Я не знаю, где он живёт, что ест на завтрак, боится ли он чего-нибудь, есть ли у него семья, почему он танцует в клубе, который пахнет дымом и потом, почему смотрел на меня вчера так, будто я единственная... Но я сижу с ним на крыше, и мне хорошо, и мне не нужно знать. Пока не нужно. Пока можно просто сидеть».

Они спустились и пошли дальше. Матео показал ей милонгу — не туристическую, а подвальную, в доме на улице Чакбуко. Дверь без вывески, лестница вниз. Там, в подвале, с низким потолком и жёлтыми лампами, танцевали старики.

В основном старики: мужчины в костюмах, женщины в платьях. Медленно, серьёзно — как будто танец был работой, как будто танец был молитвой.

Они сидели в углу, пили пиво, смотрели. Матео объяснял шёпотом: вот тот, в сером, танцует сорок лет, вот та, в красном, его жена, они танцуют вместе тридцать пять лет. Каждый вторник, каждый четверг.

— А ты? — спросила Марина. — Ты танцуешь?

— Здесь? Нет. Я не... — Он замялся. — Я не из этого мира. Я из клуба, из «Эль Фуэго Негро». Это другое. Это... — Он сделал неопределённый жест. — Это не танго. Это шоу.

— Но ты танцуешь танго.

— Да. Но не здесь, не с ними. Я... — Он замолчал, посмотрел на танцующих, на стариков, на их руки, их ноги, на то, как они двигаются — медленно, серьёзно, будто завтра не наступит. — Я не достоин. Пока.

Он сказал это так, как будто не ему, а кому-то другому — старикам на паркете, деду, которого уже нет. Как будто он просил у них прощения за то, что ещё не стал тем, кем должен был стать. И Марина вдруг поняла, что он боится не сцены. Он боится собственной правды.

Марина не знала, что на это сказать. Не знала, что значит «не достоин», не знала, кто решает, достоин ты или нет. Но она увидела, как он смотрит на стариков — с завистью, с уважением, с чем-то похожим на тоску. И не стала спрашивать. Просто сидела рядом, пила пиво и смотрела на танцующих.

Думала: может, он прав, может, танго — не для всех, может, надо заслужить, может, надо прожить. Или может, он просто боится — как она боится камеры, боится быть настоящей. Может, он боится танцевать по-настоящему, не для клуба, не для денег, а для себя. Она не сказала — подумала, но не сказала. Рано.

Уже вечером они ели эмпанасы в «Ла Американа» — улица Дефенса, восемьсот, как и рекомендовал таксист. Матео знал это место, конечно, знал — он жил тут, через три улицы.

Сидели на пластиковых стульях, ели, пили пиво, говорили. Вернее, пытались говорить. Английский Матео был лучше, чем испанский Марины, но оба были так себе. Они мешали слова, жестикулировали, снова рисовали на салфетке. Он снова нарисовал бандонеон, она — пельмень. Он снова решил, что это сумка, она обиделась. Он извинился, нарисовал ещё раз — теперь получилось похоже на утюг. Она засмеялась, он обиделся, потом оба засмеялись.

— Ты завтра работаешь? — спросила Марина.

— Да, вечером, в клубе.

— А днём?

— Днём свободен. Могу показать ещё, если хочешь.

— Хочу.

Он кивнул, откусил эмпанасу, помолчал, посмотрел на неё.

— Ты не спрашиваешь, почему я работаю в клубе, — сказал он.

— Ты сам расскажешь, когда захочешь.

Он посмотрел на неё долго — как будто взвешивал, как будто решал, можно ли ей доверять. Можно ли сказать, можно ли быть настоящим.

— Мне нужны деньги, — сказал он наконец. — Танго не платит, туристы платят мало, а вот клуб платит хорошо. Я не горжусь этим. Но я не стыжусь. Это работа, как и любая другая.

— Это не любая другая.

— Нет, не любая. — Он помолчал. — Но это моя.

Марина кивнула. Не стала спрашивать дальше, не стала говорить: «А почему ты не ищешь другую?», «А тебе не тяжело?», «А что скажут люди?». Потому что видела: он не хочет, он сам не знает. Ему тяжело, и он не хочет, чтобы она это видела.

Она доела эмпанату, облизала пальцы. Он посмотрел, она покраснела, и тогда чтоб разрядить ситуации он засмеялся.

— Голодный ребёнок, — сказал он.

— Заткнись, — произнесла она и засмеялась в ответ.

Матео проводил её до хостела. Вечерело, фонари уже зажглись, а жара спала, воздух стал мягче.

Они стояли у входа, она держала ключ, а он — просто руки в карманах. Смотрели друг на друга и молчали. Не неловко — просто молчали, как люди, которые не хотят расходиться, но надо.

— Завтра, — сказал он. — В десять утра. Я покажу тебе

рынок. Настоящий, не туристический.

— В десять?

— И возьми воду. Жара.

— Возьму. Обязательно возьму!

— А ещё шляпу. Солнце.

— У меня нет шляпы.

— Тогда возьми... — Он задумался. — ...пакет на голову.

— Пакет на голову?

— Да. Как в России. У вас же холодно, вы носите пакеты на голову.

— Мы не носим пакеты на голову!

— А что вы носите?

— Шапки.

— Шапки? Да. Возьми тогда шапку.

— У меня нет шапки. Я в Аргентине, тут лето.

— Тогда пакет.

— Я не надену пакет на голову, Матео!

— Тогда сгоришь.

— Ну и сгорю!

Он засмеялся, она засмеялась. Оба стояли и смеялись посреди улицы, в десять вечера, в Сан-Тельмо. Два человека, которые знают друг друга всего один день, рисуют пельмени на салфетках, сидят на крыше и смотрят на город.

— Ладно, мне пора, — сказал он и уточнил. — Завтра в десять?

— Завтра в десять!

Он повернулся, пошёл, остановился, обернулся:

— Марина.

— Да?

— Ты не фальшивка. Я серьёзно. Фальшь — это не твоё!

И ушёл, не оглядываясь. Руки в карманах, кросовки по асфальту. Тихо ушёл.

Марина смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол, пока не исчез и улица не стала пустой без него. Зашла в хостел, поднялась на третий этаж. В комнате храпел немец. Финки не было — она уехала в Патагонию. Её койка пустая, записка всё ещё на подушке, а значит туда никого ещё не подселили.

Марина легла, посмотрела в потолок. Один день... Один день она знает Матео. Это ничто, это мало, глупо и безумно. Влюбляться всего за один день — в стриптизёра, в чужом городе, на другом конце планеты...

Она лежала на скрипучей койке и думала: «Завтра, в десять, она снова увидит его. Есть предлог. Он покажет ей настоящий рынок без туристов, настоящий, не туристический!». И улыбалась, как дура, как тогда в шестнадцать, как в первый раз. Она чувствовала, как внутри разворачивается что-то новое — не контент. Что-то, что не нужно снимать, чтобы оно существовало. Оно просто было.

Глава 6. Я тут сижу, когда не могу думать

Глава 6. Я тут сижу, когда не могу думать

Дни слились. Не в один, не в кашу — в нечто другое. В неделю, которая была не неделей, а чем-то отдельным, вырезанным из жизни. Как страница, которую вырвали из книги и положили в карман, чтобы не потерять, и перечитать потом, когда всё кончится. И когда она перечитывала её мысленно, каждый раз находила новые детали, которых раньше совсем не замечала.

Вторник. Рынок в Матадерос — естественный, не тот, что в Сан-Тельмо, где туристы покупают магниты и «антикварные» сувениры, сделанные в Китае. Здесь пахло кровью и почему то ещё мятой, мясники в белых фартуках кричали друг на друга, бабушки выбирали помидоры так, будто от этого зависела судьба мира. Матео знал всех — его хлопали по спине, наливали мате, он говорил по-испански на каком-то диалекте быстро, громко, с жестами. Марина не понимала ни слова, но смеялась, потому что он смеялся. И все смеялись, и никто не знал почему.

Она купила помидор — просто так, потому что бабушка рядом выбирала их уже сорок минут. Помидор оказался тёплым, тяжёлым, пах солнцем. Она надкусила его прямо на

рынке, и сок потёк по подбородку. Матео посмотрел на неё. Она почувствовала его взгляд как прикосновение к коже — там, где сок оставлял влажный след. Она покраснела. Он засмеялся.

— Голодный ребёнок.

— Я тебя сейчас ударю!

— Помидором?

— Помидором!

Он засмеялся ещё сильнее.

Среда. Риачуэло — река, грязная, коричневая, пахнущая тиной и бензином. Матео привёл её на набережную, они сели на бетон, свесили ноги. Вода была мутной, в ней плавал пакет, бутылка и ещё что-то, что Марина предпочла не разглядывать.

— Красиво, — сказал он.

— Это же помойка! — рассмеялась Марина

— Это моя помойка. Я тут рыбачил в детстве.

— Тут есть рыба???

— Была когда-то. Дед ловил. Говорил: рыба из Риачуэло самая вкусная, потому что злая. Ей надо выжить, поэтому она вкусная.

— Это логика твоего деда?

— Это логика всех дедов, которые тут ловили. — теперь уже рассмеялся Матео.

Сидели, смотрели на воду. Молчали — не неловко, про-

сто молчали, как люди, которые не боятся тишины, которым не нужно заполнять каждую секунду словами. Им достаточно сидеть рядом, с ветром, с водой, с запахом тины и бензина. Она заметила, что в этом молчании было больше смысла, чем в любом разговоре.

Марина думала: «Я знаю его всего три дня. Три дня — это ничего. Это мало, это глупо. Но я сижу с ним на бетоне, над помойкой, и мне хорошо. И мне не нужно быть где-то ещё, не нужно снимать, не нужно улыбаться в камеру, не нужно „ребята“. Просто сидеть, рядом, с ним, над помойкой». Это было странно. И правильно.

Четверг. Та же крыша, пятый этаж, железная лестница, город внизу, ветер. Сидели на краю, свесив ноги, пили пиво из бутылок — без стаканов, стаканы для людей с диваном.

Он рассказал про мать: Она ушла, когда ему было семь, не умерла — уехала с любовником, в Кордову. Не вернулась. Отец пил, дед танцевал. Дед был главным, дед говорил: «Женщины уходят, танго остаётся». Матео говорил это с иронией, но Марина слышала, что в ней не только ирония, но и что-то старое, засохшее, но не исчезнувшее. Она видела в его глазах ту самую боль, которую он прятал за улыбкой, и это делало его ещё ближе.

А она рассказала ему про колено: как в двадцать два года на показе в Москве упала. Не красиво, не «ой, споткнулась» — упала, колено вывернулось, хруст, боль, скорая, операция,

шрам. И всё — модель кончилась. Не сразу, ещё год пыталась, ходила на кастинги, улыбалась, а потом поняла: всё, колено не то, тело не то, ты уже не та.

— И ты стала блогером? — сказал Матео.

— И я стала блогером — подтвердила Марина.

— Потому что камера легче, чем подиум?

Марина подумала долго, глядя на крыши, на реку вдалеке, на небо, белое от жары.

— Потому что за камерой можно спрятаться, — сказала она. — На подиуме ты вся на виду. А за камерой ты смотришь, и ты не видна. Ты глаза, а не тело.

— А сейчас? — спросил он. — Сейчас ты видна?

— Сейчас я на крыше с тобой, над городом. Тут мне не нужно прятаться.

Он кивнул, не сказал ничего — просто кивнул. И этого было больше, чем любые слова. Больше, чем «ты красивая», больше, чем «ты не фальшивка». Просто кивок, как будто он понял, и ему не нужно объяснять.

Ночью он работал. Теперь пока каждый вечер, в девять, в «Эль Фуэго Негро». Марина приходила и садилась у бара, Люсия ставила перед ней пиво, не спрашивая какое — уже знала. И Марина смотрела. Но теперь по-другому — не как в первый раз, не как зритель, не как «о боже, какой красивый парень». Теперь она знала: что он ест на завтрак, тоже боится высоты, но сидит на крыше, потому что «если не сидеть —

будет хуже», что его мать сбежала в Кордову и не вернулась, что он рисует бандонеон как утюг, что говорит «голодный ребёнок» и смеётся грудью.

И когда он танцевал, она видела не танцора — она видела Матео. Того, кто сидит на крыше, ест эмпанады, говорит про деда, смотрит на стариков в милонге и думает: «Я не достоин». И танец уже был другим — не шоу, не «посмотрите на меня», а разговор. С ней, с залом, с собой. С тем, кого нет. С тем, кто есть. Стрелка компаса возвращалась к ней каждый раз. И каждый раз, когда их взгляды встречались, она чувствовала, как внутри что-то щёлкает — как затвор фотоаппарата, только этот кадр оставался не на плёнке, а в памяти.

Пятница, суббота, воскресенье. Всё повторялось. Дни, ночи, утро, вечер. Крыша, рынок, река. Они говорили часами, до рассвета — на набережной, на крыше, на улице, сидя, стоя, когда шли рядом, когда лежали на тёплом бетоне, глядя на звёзды. Говорили везде.

Он рассказал, что мечтает уехать — не из Буэнос-Айреса, а из клуба, из «Эль Фуэго Negro». Мечтает танцевать по-настоящему, не для денег, и тем более не для туристов — для себя. Она видела, как он говорит об этом и его глаза сразу становились другими, в них появлялся свет, которого не было, когда он говорил о клубе. Одна мечта, до которой он когда-нибудь доберётся.

А она рассказала, что мечтает снять что-то настоящее — не контент, не просто какой-то продукт. Что-то, что будет

жить, будет дышать, что-то, что она посмотрит через десять лет и подумает: «Да, это я, и это правда, это не фальшивка».

— Ты и снимешь, — сказал он.

— Почему ты так считаешь?

— Потому что ты здесь. Без камеры, и у тебя нет плана. Ты здесь, и ты настоящая. Но я думаю ты и сама это знаешь.

Она не ответила — не знала, что ему ответить. Не знала, прав ли он, не знала, будет ли готова. Но кивнула — просто кивнула, как он кивал, как будто этого достаточно. Как будто кивок — это ответ, обещание, надежда...

Воскресенье, ночь.

Они шли из клуба в три часа. Ла-Бока спала. Горели жёлтые фонари, тёплые, как в старом кино. Воздух был мягким — не липким, не жарким, просто тёплым. Как рука, как его плечо, которое касалось её плеча всю дорогу. Случайно? Или всё же нет?

Они шли по мосту — маленькому, старому, через Риачуэло. Вода внизу тёмная, тихая, пахла тиной и чем-то ночным. Они остановились посередине, не сговариваясь — как будто ноги решили, как будто мост решил, как будто город решил: «Здесь и сейчас».

Матео повернулся к ней, посмотрел без улыбки. Просто посмотрел, как будто видел впервые — не на сцене, не на крыше, не в клубе. Здесь, на мосту, ночью, над водой.

— Марина, — сказал он тихо, будто боялся, что имя украдут.

— Да?

Он молчал, смотрел. Руки в карманах. Потом вынул их, положил ей на плечи — не на талию, на плечи. Как будто держал, как будто не хотел отпускать, боялся, что она исчезнет, что это сон, что завтра она улетит в Россию, в Екатеринбург, в свои три тысячи просмотров, в свой матрас на полу.

— Я не знаю, что это, — сказал он. — Не знаю, что будет, не знаю, останешься ли ты, останусь ли я. Не знаю ничего.

— Я тоже.

— Но одно я знаю точно...

Он наклонился медленно, давая ей время сказать «нет». Она не сказала. Он поцеловал её — не как в кино, не с музыкой, не с остановившимся временем. Просто поцеловал. Рука на её плече, её рука на его груди, сердце колотилось — его или её, она не знала, не понимала, не думала.

Поцелуй вышел неловким, коротким. Он отстранился, посмотрел на неё, она на него. Оба моргнули — как будто не ожидали, как будто это случилось само, мост так решил, город так решил...

— Это было... — начала она.

— Да, — сказал он. — Было.

— Я не знаю, что...

— Я тоже.

Они стояли, не зная, куда деть всю эту неловкость. А потом засмеялись оба — тихо, глупо, словно дети, которые не знают, что теперь делать. Но знают одно: это было. Оно слу-

чилось. И оно самое что ни на есть настоящее — это чувство.
— Ладно, — сказал Матео. — Идём...

Уже в хостеле Марина легла на свою кровать и по привычке посмотрела в потолок. Целая неделя. Семь дней, семь крыш, семь эмпанад. Всё слилось в один день, и ей казалось, что этого недостаточно, она хотела ещё. Но был один поцелуй — тот, на мосту, ночью. И ей опять захотелось ещё, и ещё, и ещё... Пусть это продолжается до бесконечности. Сейчас она чувствовала себя самым жадным человеком на свете.

«Я влюбилась, — подумала она. — Влюбилась в стриптизёра в чужом городе, на другом конце планеты. Всего за неделю, за семь дней, за семь крыш. Это глупое безумие. Это невозможно, такого не бывает! Это не сказка, это происходит в жизни. Я влюбилась! И теперь мне страшно. И мне хорошо. И мне всё равно, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год... Всё равно! Потому что сегодня — на мосту — он поцеловал меня. И в ответ я поцеловала его. Это не фальшь, это было настоящее. И это было моё. Это было наше!»

Она закрыла глаза и улыбнулась. Сон накатиł внезапно, словно тёплая волна. И в этом сне она снова была на мосту, и снова его руки лежали на её плечах, и снова она чувствовала его дыхание на своей коже. А за окном Буэнос-Айрес жил своей жизнью, не зная и не желая знать, что в одной из его бесчисленных комнат девушка с рыжими волосами только

что поняла: она влюбилась по-настоящему. Впервые. И это было страшно и прекрасно одновременно.

Глава 7. Чёрные машины

Глава 7. Чёрные машины

Первый внедорожник Марина заметила во вторник. «Заметила» — громко сказано, потому что она просто сидела у бара с третьим пивом, смотрела, как Матео танцует, и краем глаза, тем самым, который обычно занят мыслями о следующем заказе, увидела за окном у служебного входа чёрную машину. Новую, блестящую, совершенно неуместную среди старых пыльных «пежо» и «фиатов», что составляли основной автопарк Ла-Боки. Рядом с машиной стояли двое в костюмах — и это уже было странно, потому что в Ла-Боке в костюмах ходят либо на похороны, либо в суд, либо на сделку. И ни один из этих поводов не предполагает, что ты будешь стоять у чёрного входа в стриптиз-клуб и курить, глядя в телефон. Она заметила, как один из них щёлкнул зажигалкой, и пламя на секунду осветило его лицо — пустое, безразличное, как у человека, который делает это каждый день и уже давно перестал замечать, что делает.

Она допила пиво, посмотрела ещё раз — машина стояла на месте, двое на месте, один курил, другой листал что-то в телефоне с таким выражением лица, с каким листают не ленту новостей, а документы. Решила, что ей, наверное, кажется. Просто чьи-то водители или охрана политика, который заехал в клуб инкогнито. А может, ей просто мерещится от

выпитого мальбека и усталости... Матео танцевал, смотрел на неё, стрелка компаса возвращалась, всё было как всегда, и она перестала думать о машине. Но где-то внутри, на самом дне, остался холодный след — как от камня, брошенного в воду. Она не знала тогда, что круги от него ещё пойдут.

В четверг машин стало уже две. В пятницу — три. В субботу — сразу четыре, они стояли в ряд у служебного входа, как на парковке у бизнес-центра. Только конкретно этот «бизнес-центр» пах дымом и потом, и внутри танцевали полуголые парни под бандонеон. А в глубине зала, за тяжёлой шторой, которую Марина раньше не замечала или не хотела замечать, был VIP-зал. И в этом VIP-зале сидели люди, которые не танцевали. Раньше она всего этого почему-то не замечала. Даже странно.

На этих людей она обратила внимание в субботу, когда пришла в клуб чуть раньше обычного, а Матео ещё не вышел на сцену. У неё было время не просто сесть и утонуть в баре, а оглядеться по-настоящему — так, как оглядывается человек, который неделю ходит в одно место и вдруг решает поднять голову от пива. То, что она увидела, ей не понравилось. Не то чтобы испугало или насторожило по-серьёзному, но что-то в этих людях за шторой было не клубное, не «я пришёл потанцевать и выпить ром», а другое: деловое, холодное. Они сидели на кожаных диванах, пили виски из тяжёлых стаканов, говорили тихо, наклоняясь друг к другу, и иногда смеялись — коротко и сухо, как кашляют, как будто

не потому что смешно, а потому что так положено в разговоре. Их смех не касался глаз — глаза оставались неподвижными, холодными, как у рыбы, которую вытащили из воды, но она ещё не поняла, что умерла. Они не смотрели на сцену, и на танцующих, не смотрели на Матео. Смотрели на телефоны или на часы, иногда на дверь — как будто ждали кого-то или чего-то, и каждая минута ожидания стоила им денег, и они это знали, и им это не нравилось.

— Кто это? — спросила Марина у Люсии, кивнув в сторону шторы.

Люсия протирала стаканы. Она всегда протирала стаканы, когда Марина задавала вопросы, на которые не хотела отвечать. Марина заметила это за неделю — она смотрела на то, как один и тот же стакан полируется до блеска по три-четыре раза. Сейчас он уже сиял, отражая красный свет клуба, но Люсия продолжала водить по нему тряпкой, круговыми движениями, как будто протирала не стекло, а своё собственное молчание.

— Клиенты, — коротко сказала Люсия, не поднимая глаз.

— Какие клиенты?

— Богатые.

— Богатые кто? Банкиры? Бизнесмены?

Люсия подняла глаза и посмотрела на Марину так, как смотрят на ребёнка, который спрашивает, почему небо голубое, и ты знаешь ответ, но не хочешь говорить — потому что настоящий ответ длинный и неприятный, а короткий не

устроит.

— Богатые, которым всё равно, кто танцует, — сказала она. — Им важно, чтобы их не трогали, и чтобы никто не задавал вопросов, а дверь в этот зал была закрыта.

— И всё? Так просто?

— Так вот просто.

Марина посмотрела на Люсию — та, отвернувшись, продолжала заниматься уже чистым стаканом. Он блестел как зеркало, но она продолжала его протирать, круговыми движениями — как будто, если протирать достаточно долго, вопрос рассосётся сам собой. Не рассосался. Но Марина не стала давить — видела: Люсия не скажет, не потому что не хочет, а потому что не может, или боится, или то и другое сразу. Стакан звякнул о стойку, и в этом звуке было что-то окончательное.

Матео вышел на сцену. Бандонеон заиграл... Марина повернулась, посмотрела на него — и стрелка компаса мгновенно вернулась, обратно продолжая указывать нужное ей направление. На секунду всё стало как всегда, VIP-зал за шторой перестал существовать, чёрные внедорожника перестали существовать, Люсия со стаканом перестала существовать — был только Матео, свет, музыка и его глаза, находившие её в полумраке. Только на секунду.

В это воскресенье Марина решила зайти за кулисы. Не то чтобы решила — скорее просто импульс, тот самый, кото-

рый накатывает, когда сидишь в баре четвёртый вечер подряд и знаешь, что он там, за сценой, пьёт воду между танцами. И вдруг становится невыносимо любопытно: где именно он пьёт эту воду, на каком стуле сидит, как дышит, когда никто не смотрит? «Пойду, посмотрю, ничего страшного, просто любопытство, хочу увидеть его без прожектора, без музыки и без трёхсот пар жадных до его тела глаз».

Матео был на перерыве, недавно сказал: «Я за кулисы, нужна вода. Пять минут, и я вернусь» — и ушёл. Марина подождала две минуты, потом не выдержала, встала и пошла за ним.

Коридор за сценой оказался тёмным и узким, но двери шли по обе его стороны. За одной из них, приоткрытой, она увидела гримёрку: зеркало, стул, бутылка воды, рубашка на спинке, кеды на полу — всё обычное, человеческое, ничего страшного. Она пошла дальше — коридор поворачивал, и за поворотом были ещё двери. Из-за одной, закрытой, доносились голоса: тихие, не испанские и не английские — может, португальские, может, итальянские. Она не разбирала. Но это были не просто голоса — они говорили цифры, много цифр, и одно слово, короткое и твёрдое, как щелчок затвора, повторялось снова и снова. Она прислушалась — слово легло на язык, тяжёлое, нехорошее. Цифры сыпались одна за другой, как монеты в автомат, и она вдруг поняла, что это не просто разговор — это сделка.

Дверь открылась. На пороге стоял Матео с бутылкой воды

в руке и смотрел на неё. Смотрел не удивлённо и не зло — так, как смотрят на человека, которого ждали, которого не хотели видеть, но знали, что он придёт. И теперь стоят и думают, что сказать, чтобы он ушёл и не обиделся.

— Что ты тут делаешь? — спросил он тихо. В его голосе не было злости — просто усталость. Та усталость, которая старше его, которую он носил, как цепочку на шее, не снимая.

— Искала тебя, — сказала Марина.

Это была правда, но не вся, и он это знал.

— Я же предупредил, я в гримёрку за водой. Через пять минут вернусь.

— Я помню. Просто мне хотелось увидеть, где ты сидишь между танцами, где дышишь, где...

— Идём отсюда, — прервал он, взял её за руку и поянул обратно, в зал. Его рука на её руке была тёплой и сухой, он шёл быстро — как будто хотел уйти из этого коридора, от этой двери, от странных голосов, от слова, которое она не понимала. Она шла за ним и не сопротивлялась, не спрашивала. Но она видела: он не хочет тут находиться, ему тут страшно, и если она сейчас скажет «что это было», он закроется, как та дверь, которую больше не открыть.

Они сели у бара с другой стороны. Люсия как всегда поставила пиво на стойку и махнула рукой. Сегодня Матео пил только воду. Бас гудел, кто-то смеялся, музыка играла — всё как всегда.

— Матео, — задумчиво произнесла Марина. Он мгновенно посмотрел на неё. Его плечи поднялись на миллиметр, пальцы сжались на стакане. — Что это было за дверью? Я про голоса.

— Какие голоса?

— Я слышала там голоса. Кажется, говорили про цифры. Какое-то слово вроде знакомое, а вроде и не разобрать...

— Тебе показалось. Музыка, бас... Тут всегда шумно. Ты выпила и устала.

— Нет. Мне не показалось. Что там было?

Он посмотрел на неё долго. В его глазах появилось то, чего она ещё не видела: не на крыше, не на реке. Нечто, что он прятал — как прячут записку, или письмо, как прячут правду, которую не хочешь говорить. Потому что если скажешь — всё изменится, и крыша перестанет быть крышей, и река перестанет быть рекой. Всё перевернётся. Останутся только клуб, дым, бас, четыре чёрных внедорожника и люди в костюмах, которые не танцуют.

— Марина, — сказал он, продолжая улыбаться. — Тут клуб, тут много музыки и много разных голосов. Везде голоса. Тебе просто кажется.

Он упорно пытался увернуться.

— Мне не кажется.

— Тебе кажется, — повторил он, сжал её руку — не сильно, но настойчиво. Так сжимают, когда хотят сказать: «Пожалуйста, не надо, не сейчас, не так».

Марина посмотрела на него и не поверила. Поняла — он врёт. Не ей. Он врёт себе. Он знает больше, чем говорит, больше, чем может сказать. И он не скажет ей сейчас ничего, потому что боится. Ей нельзя на него давить, потому что если надавит — он закроется, и Марина потеряет его, его и всё, что у них сейчас есть.

— Ладно, — сказала она. — Идём, нужно пересесть...

В понедельник она спросила снова. Вчерашняя ситуация почему-то не шла у неё из головы. У Марины появилась мысль, что где-то рядом с ними существует смертельная опасность. Стоит сделать неверный шаг — и сразу провалишься в какое-то болото.

— Матео, клуб. Я хочу знать, кому он принадлежит.

Он лежал на бетоне, руки под головой, смотрел в небо — белое от жары, бесконечное, как потолок, только наоборот. Молчал долго — так долго, что Марина подумала: уснул, или делает вид?

— Какому-то человеку, — сказал он наконец, не глядя на неё. — Я не знаю кто он.

— Ты не знаешь, кому принадлежит клуб, в котором работаешь уже три года?

— А зачем? Я танцую. Мне платят. Я не спрашиваю, кто платит, тем более что платит просто управляющий, а он не хозяин.

— Но ты всё равно знаешь, — давила Марина.

Он молчал, смотрел в небо. Долго — как будто облака были важнее, как будто если смотреть на них достаточно долго, вопрос рассосётся, как рассосался у Люсии со стаканом.

— Матео?

— Я знаю, что клуб не простой, — сказал он тихо. В его голосе появилось то, чего она раньше не слышала: не усталость, не ирония — что-то другое, что он прятал, как прячут шрам, как прячут колено, которое болит, когда меняется погода. — Я знаю, что там бывают всякие деловые люди. Они не развлекаться туда приходят. Они не танцуют и не пьют. Занимаются какими-то делами, о которых мне лучше не знать. Я и не хочу знать. Я танцую — мне платят. На этом точка. Не вижу смысла спрашивать о том, что меня не касается.

Марина лежала рядом и слушала его. В его словах не было злости, не было страха. Зато было что-то среднее, что бывает, когда знаешь, что живёшь не там, где хочешь, и делаешь не то, что хочешь, и видишь то, что не хочешь видеть. Ты не можешь уйти — потому что уйти некуда. За танцы кроме клубов больше никто не платит, а туристы не настолько щедры, чтоб на это можно было прожить. И тогда ты закрываешь глаза, просто танцуешь и никуда не смотришь. Не задаёшь вопросов, а просто живёшь как и жил.

— И всё? — спросила она тихо.

— И всё, — просто ответил Матео.

И она поверила. Не потому что это была вся правда — а

потому что это была та часть правды, которую он мог ей рассказать. Часть, которую он не боялся, за которой не стояли четыре странных чёрных внедорожника и слово, смысл которого она ещё не поняла. Она приняла эту часть, как принимают подарок, который не до конца понимаешь, но знаешь, что он дорог.

Город гудел внизу всевозможными городскими звуками, а ей было всё равно. Сейчас не было ничего важнее, как то, что Матео находится рядом с ней. Она своими глупыми вопросами чуть не нарушила слабое хрупкое равновесие чувств, которые между ними нарастали с каждым днём. Она чувствовала, как внутри неё что-то меняется — не страх, не тревога, а что-то другое, более глубокое. Она не хотела это терять. И поэтому она замолчала. Просто лежала рядом и смотрела в небо, белое, бесконечное, как их общее молчание.

Глава 8. Закрытая вечеринка

Глава 8. Закрытая вечеринка

Марина стояла перед зеркалом в общем туалете хостела и пыталась понять, не сошла ли она с ума. Зеркало мутное, да ещё и с трещиной в углу, но в нём сейчас отражалась девушка в чёрном платье, которое она сегодня купила на рынке в Сан-Тельмо за двенадцать долларов у бабушки. Та сказала: платье из Италии, настоящее брендовое, носила одна синьора, очень красивая, потом умерла, бедная. Марина подумала, что платье покойницы — не очень гигиенично, но оно сидело идеально: обтягивало там, где надо, и не обтягивало там, где не надо. Она купила его не торгуясь — впервые за долгое время захотелось быть красивой не для камеры и не для блога, а для одного конкретного человека. Для Матео.

Он сегодня попросил: «Приходи в девять. Будет закрытая вечеринка, и я на ней танцую. Сегодня в клуб можно только своим. Я хочу, чтобы ты была там вместе со мной».

Она накрасила губы красной помадой, которую обнаружила на дне чемодана, завалившуюся между мелкими вещами и запасной зарядкой от телефона. Старая, но цвет был хороший, редкий. Провела помадой по губам, оценила в зеркало и увидела, что выглядит не как девчонка с матрасом на полу, а как вполне себе зрелая красивая женщина. Ей это понравилось. Все эти «привет, мои хорошие» и «сегодня мы с ва-

ми...» — они превращали её просто в голос, в лицо на экране, в функцию. А сейчас она была просто Мариной. Мариной которая надевает чёрное платье и красит губы красной помадой, чтобы идти на свидание. Женщина, которая хочет нравиться. Которая волнуется, как в шестнадцать лет перед первым танцем. И в этом волнении не было ничего от блогера — только от неё самой, той, которая существовала до камеры, лайков, контрактов...

Марина улыбнулась себе, и отражение отвечая ей взаимностью, мгновенно улыбнулось ей в ответ. Трещина в зеркале разделила улыбку пополам, но это было даже прикольно — как будто у неё две улыбки. Одна для камеры, другая — настоящая. Сегодня она выбирала вторую.

В коридоре кто-то загремел ключами. Марина вздрогнула, обернулась — никого, просто звук. Сердце колотилось быстрее обычного. Она не нервничала — она предвкушала. Это было новое чувство, забытое. Как будто ты стоишь на пороге чего-то важного и не знаешь, что за дверью, но почему-то уверена: там будет хорошо. Там будет он.

Она быстро надела красные туфли на каблуке, которые привезла с собой в чемодане из Екатеринбурга. Когда-то купила их для съёмок — «образов для вечернего выхода», — а надела впервые. Они были неудобные, жали в пальцах, но красивые. Иногда красота важнее удобства. Особенно сегодня.

Восемь сорок. Встреча в девять. Она вышла из хостела,

и вечерний Буэнос-Айрес мгновенно объял её нежным тёплым воздухом. Улица Дефенса уходила вниз, к центру, фонари горели жёлтым, из открытых окон доносилась музыка — где-то привычное танго, где-то просто радио, где-то обычный задорный смех. Город дышал, жил, не замечал её. И это было правильно. Она не хотела, чтобы её сейчас замечали. Она хотела просто идти, чувствовать, как ветер трогает волосы, а каблуки стучат по асфальту, как сердце колотится в груди — не от страха, от предвкушения встречи.

Она думала о Матео. О том, как он скажет ей «привет» и улыбнётся своей ямочкой. Посмотрит на платье. Как они сядут у бара и будут говорить о чём-то неважном, что на самом деле для неё становится самым важным. О крыше, о реке, о смешном пельмене-утюге — обычном рисунке. Обо всём, что стало их общим языком за последние дни. Она улыбалась на ходу, и прохожие, наверное, думали: сумасшедшая туристка. Но ей было всё равно, ей было плевать, что они все думают...

Сегодня клуб и правда был другим. Марина поняла это ещё на улице, до того как вошла: у служебного входа стояло много дорогих машин и были прежние странные внедорожники, что вызывали у неё какое-то скрытое опасение. Только сегодня их уже не четыре, а сразу шесть чёрных внедорожников. Рядом охранники. Они не курили и не смотрели в телефоны, стояли ровно, как солдаты, только в пиджаках, из-под которых что-то выпирало. Марина по наивности поду-

мала: «просто складка». И тут же перестала думать об этом, забыла. Сегодня она пришла на закрытую вечеринку, и ей, по большому счёту, в общем-то наплевать, что там и у кого выпирает.

Вошла, уже знакомый вышибала кивнул ей, словно старой знакомой. И то, что её узнали, на секунду согрело — как будто она тут своя, и её ждали.

Но внутри всё было по-другому. Зал изменился до неузнаваемости. Музыка тише, бас не гудел в рёбрах, а лежал где-то на дне живота, словно спящая кошка. Свет не красный, не клубный, не развратный — тёплый, золотистый, как в дорогом ресторане. На столах скатерти. Настоящие, белые, накрахмаленные. И люди другие — не клубные, не из обычной повседневной тусовки. Мужчины в дорогих костюмах, с часами, с телефонами на столе, с лицами, которые улыбались очень мало, а если улыбались — то одними губами, не глазами. Их улыбки не касались взглядов, оставаясь где-то на поверхности, как масло на воде. Женщины с ними красивые, но словно неживые: идеальные причёски, идеальные платья, идеальные позы — как манекены, которых посадили за стол и сказали «будьте красивыми». И они были. Но не живые.

Все они стояли у стойки или сидели за своими столами, которых раньше тут не было, пили виски, говорили тихо, иногда смеялись — коротко, сухо, словно кашляют, — смотрели на часы и чего-то ждали.

Марина стояла у входа и чувствовала себя лишней. Как

человек, который пришёл на вечеринку, а попал на деловой приём. Как будто она ошиблась дверью. На ней нет бриллиантов и дорогих часов, нет того выражения лица — «я тут главный». На ней платье за двенадцать долларов, купленное у старухи, и туфли, которые жмут. И красная помада, которая, как ей казалось минуту назад, делала её красивой. А сейчас она чувствовала себя девчонкой. Просто девчонкой, которая пришла не туда.

Но Матео сказал: «Я хочу, чтобы ты была сегодня в клубе». И она держалась за эти слова, как за поручень в катере. Если он хочет, чтобы она была, значит, она не лишняя. Значит, она на своём месте.

И тут Марина увидела его...

Матео стоял у бара — не в рубашке, не в своих обычных брюках, а в чёрном костюме с белой рубашкой и галстуком. Волосы зачёсаны назад, цепочка спрятана под воротник. Он выглядел не как танцор или стриптизёр, даже не как её прежний Матео с крыши. Сегодня он выглядел как кто-то другой, кого она не знала. Как человек, который здесь не случайно, а по делу. Который часть этого мира — дорогих костюмов, тихих разговоров, часов за десятки тысяч. И на секунду Марине снова стало не по себе. Как будто она его не знает. Будто он тоже из тех, кто сидит за столами и ждёт.

Но потом он увидел её и улыбнулся своей прежней тёплой улыбкой. И ямочка вернулась. Всё встало на свои места.

— Привет. Ты всё же пришла?!

— Ты сказал, что хочешь, чтобы я была. И вот я здесь. Как ты и хотел...

Он посмотрел на неё — сверху вниз. Провёл взглядом по платью, по её губам, по туфлям, по волосам, которые она распустила, потому что так гораздо красивее.

— Ты слишком красива для такого, как я, — признался он тихо, без иронии. И в этом «слишком» было не восхищение, а что-то другое — как будто он извинялся. За то, что ей пришлось сюда прийти. За то, что она видит этот мир, который он так долго прятал.

— Спасибо, — сказала она. — Ты тоже. В костюме. Ты похож на...

— На кого? — быстро спросил он.

— На человека, который продаёт мне страховку, квартиру или душу. И всё же я пришла именно к тебе! Так что даже и не сомневайся!

Он засмеялся. И этот смех, такой как тогда, на крыше, — разрушил всё напряжение. На секунду зал перестал быть залом, люди в костюмах перестали быть людьми, шесть внедорожников перестали существовать. Был только он, она, и смех, и всё было правильно, хорошо, и как надо.

Они сели у бара. Люсия поставила перед ними мальбек. Два дорогих бокала, не из тех, что обычно. Сегодня всё было не из тех, что обычно.

— За что пьём ? — спросила Марина.

— За то, что ты сейчас здесь, со мной.

— Ну что ж, если ты так желаешь... За то, что я здесь! — повторила она тост.

Они выпили. Вино было тёплым, густым, пахло вишней и чем-то ещё, чему она не знала названия. И этот вкус — вкус дорогого вина, вкус «не для всех» — был ещё одним напоминанием: она в другом мире. Но сейчас это не имело значения. Сейчас имел значение только Матео. Его плечо рядом, его пальцы на ножке бокала, глаза, которые смотрели только на неё, а не куда-то ещё.

Они говорили тихо — не о клубе. Обо всём подряд, что лезло в голову, главное — быть сейчас вместе. Перебирали последние яркие воспоминания, как чётки: крыша, река, мост, помидор, пельмень-утюг, эмпанада, «голодный ребёнок». Каждое слово, когда-то сказанное во время свиданий, стало кодом, паролем, неким ключом к их общему миру, миру, который существовал отдельно от этого зала. И пока они говорили, их мир был реальнее, чем всё, что происходило вокруг.

— Помнишь, как ты облизала пальцы после эмпанады? — спросил он, улыбаясь.

— А ты помнишь, как нарисовал пельмень, и он был похож на утюг?

— Это был бандонеон!

— Это был утюг, Матео! Даже твой дед не узнал бы в этом бандонеон!

— Мой дед узнал бы в этом бандонеоне всё что угодно.

Он говорил: бандонеон похож на всё, что ты любишь. Если ты любишь уют — он будет похож на уют.

— Значит, ты любишь уют?

— Нет, это значит, я люблю тебя.

Он сказал это неожиданно — без подготовки, без паузы, без «я хочу тебе что-то сказать». Просто сказал, как будто это было очевидно. Как будто это было так же естественно, как дышать, как смотреть на неё, как держать её за руку.

Марина замерла. Бокал завис в воздухе. Она смотрела на него и не знала, что ответить. «Я тоже»? «Спасибо»? «Ты пьян»? Все слова казались глупыми, недостаточными, не теми. И тогда она просто взяла его за руку и сжала. Крепко. До хруста. И это было больше, чем любые слова.

И на секунду — на одну долгую, тёплую секунду — Марина забыла, где она. Забыла про зал, про людей вокруг них, про Люсию, которая протирала стаканы. Была только она, и Матео, и сладкие воспоминания. И то, что он сказал. И то, что она не сказала, но он всё равно знал.

А потом она подняла глаза и заметила.

В зал быстро вошёл одинокий человек. Он появился не из главной двери, он вошёл через заднюю, ту, что за сценой, где она слышала голоса, показавшиеся ей странными. Вошёл быстро, не глядя по сторонам, словно приходил сюда каждый день. В руке чёрный кейс — небольшой, ничем не примечательный, без логотипов, без блеска. Такой кейс, в каких носят не ноутбук, не документы, а что-то другое. Что-то, что не

должно привлекать внимание. И именно поэтому оно привлекало. Он нёс его так, как носят что-то тяжёлое и опасное — не весом, а значением, которое в нём было заперто.

Марина смотрела. Матео смотрел — но он делал это по-другому, не с любопытством и удивлением, а словно знал, кто это был. Казалось, он уже видел этого человека или таких, как он, сотни раз. Ему было явно плевать на него и на то, чем он занимается. Даже казалось, Матео не хотел его видеть, но не мог, потому что работал тут. И потому что закрыть глаза — не значит перестать видеть. Иногда то, что ты не хочешь видеть, всё равно стоит у тебя перед глазами.

— Матео, — спросила Марина тихо. — Кто это?

— Никто, — сказал он и выпил вино залпом, до дна. Словно пил воду или лекарство. Или яд.

— Это не никто. Я же вижу, его ждали.

— Это никто, — повторил он и пристально посмотрел на неё. В его глазах было нечто, чего она не видела раньше: не страх или злость, а что-то, что он прятал, что-то старше его, тяжелее, страшнее. То, что он носил в себе все эти три года и не показывал никому. — Пей вино, смотри на меня. Не на него. Он тебе не нужен. Смотри только на меня. Не позволяй плохим мыслям испортить нам этот прекрасный вечер.

Он говорил это и держал её за руку. Его пальцы были тёплыми, но она чувствовала, как они напряжены — не от страсти, а от усилия. От усилия не смотреть. Не думать. Она поняла: он не хочет, чтобы она видела то, что видит он. Не по-

тому что не доверяет, а потому что хочет защитить. Сохранить этот вечер. Сохранить её. Сохранить то, что они только что сказали друг другу.

Марина так и сделала. Смотрела только на него — на его глаза, на руки, сжимающие бокал, на губы, на плечи, не замечая страха, который он почему-то прятал. Вот только ей всё равно хотелось понять, что тут за клуб. То ли её терзало обычное любопытство, то ли скрытое опасение... Она снова отпила вино из своего бокала, она поверила ему и улыбнулась. Потому что иногда лучше не знать. Иногда лучше просто верить. Просто пить вино. Просто быть рядом.

А за шторой в VIP-зоне люди в дорогих костюмах тихо говорили между собой. Кейс спокойно лежал на столе — чёрный, ничем не примечательный. Но Марина заметила: никто из сидящих за столом не прикасался к нему. Он лежал отдельно, как будто был не вещью, а существом. Как будто имел значение сам по себе, без того, что внутри. И те, кто сидели за столом, смотрели на него — мельком, не задерживаясь, но всё же смотрели. Как смотрят на бомбу, которую нужно обезвредить. Или на гостя, которого нельзя задерживать.

Время шло своим ходом. За этим всем что-то стояло, что-то ждало... Марина не знала что и не хотела знать — пока было вино, был Матео и его слова о ней.

В одиннадцать часов свет в зале изменился — стал темнее, прежний бас вернулся, загудел. Люди зашевелились, по-

вернулись к сцене, на которую через минуту выйдет Матео. Он встал, поправил галстук, посмотрел на неё.

— Я сейчас, — сказал он словно извинялся, что потревожил её покой. — Мой выход. Нужно отработать. Пять минут, танец, и потом я вернусь к тебе.

— Конечно, иди, — отпустила она. — Я буду тут, никуда не уйду.

Он наклонился, поцеловал Марину — тихо, быстро, как будто боялся, что кто-то увидит, или запомнит, будто боялся, что это может стать последним в его жизни. И в этом поцелуе была не только нежность. Было что-то ещё — как будто он прощался. Не с ней. С вечером. С тем, что они только что сказали друг другу. Что могло бы быть, если бы не этот зал, не эти люди, не этот кейс на столе.

Он скрылся за кулисами. Марина осталась одна. Смотрела ему вслед и думала: «Пять минут. Всего пять минут»... Но где-то внутри, там, где живёт страх, она знала: эти пять минут могут изменить всё.

Прожектор мигнул, включился, ударил бас, бандонеон привычно заиграл. На сцену вышел Матео — в костюме, с галстуком, с цепочкой под воротником. И посмотрел не в зал, а на неё.

Марина улыбнулась ему, выпила вино и поставила бокал обратно на стойку. Она не знала, что будет дальше. Не знала, что в этом кейсе. Не знала, почему он сказал «люблю» именно сегодня. Но знала одно: она останется здесь. Она никуда

не уйдёт. Пока он танцует — она смотрит и ждёт.

И она стала смотреть, как он танцует — в костюме, не снимая галстука, под светом прожектора. Его танец сегодня был иным. Не шоу, не «посмотрите на меня». Она видела это в каждом его шаге — Матео танцевал не для денег и публики. Он танцевал только для неё. И в этом танце было то, что он не мог сказать словами. Прощание. Любовь. Страх. Надежда. Всё вместе, в одном движении, в одном взгляде, который находил её в полумраке и не отпускал. Каждое движение, каждый поворот головы, каждая пауза — для неё. И люди в костюмах, и кейс на столе, и охранники у входа — всё это исчезло. Остался только он. И она. И танец. И пять минут, которые ещё не закончились.

Глава 9. Двадцать три сорок

Глава 9. Двадцать три сорок

Матео танцевал. Марина смотрела на него, и всё казалось правильным. Всё было на своём месте, пока бандонеон тянул свою бесконечную нить, и бас лежал на рёбрах, как тёплая ладонь. Прожектор рисовал на сцене круг, в котором Матео двигался медленно, тяжело, как человек, который говорит движениями своего тела то, что не может сказать словами. Его глаза находили её в полумраке зала, и возвращались, и находили снова. Она сидела у бара с бокалом

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.